123

ГОТЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ БОЛЬШЕВИЗМА

ЗАПИСКИ ПОДПОЛЬЩИКА

ИЗД-ВО ПОЛИТ-КАТОРЖАН МОСКВА 1927

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
И
ССЫЛЬНО-
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН
И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА“

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

КНИГА XVIII

МОСКВА

В. ДЕГОТЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ БОЛЬШЕВИЗМА

ЗАПИСКИ ПОДПОЛЬЩИКА

1 9 2 7

Москва. Главлит № 81.092 3.500 экз.

«Мосполиграф». 16-я типография, Трехпрудный, 9.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Х. А. Раппопорт. Предисловие 7

ЧАСТЬ I.

Как я стал большевиком 9
Влияние и работа одесского комитета большевиков в 1905 году 12
Ленин—делегат от одесской организации на III с'езд партии 23
«Потемкинские дни» 27
Использование легальных возможностей 35
Погромы и революционные организации 43
От'езд за границу 51
Наш провал 58
В тюрьме 60
По дороге в ссылку 66
В ссылке 69
Мой побег 75
В эмиграции 83
Мировая война 88
Февральская революция 94
В Россию 97
Опять в Одессе 100
В большевистском Питере 103
В революционной Одессе 106
Сдача города немцам 109
Под юнкерским сапогом 111

ЧАСТЬ II.

В оккупированной Одессе 113
Иностранная коллегия 117
От'езд на подпольную работу 123
Первые встречи с итальянскими коммунистами 127
Зачатки коммунистической партии во Франции и рабочее движение . . 131
Приезд в Москву. Встреча с т. Лениным 138
Обратно на подпольную работу за границу 145
Арест 149
Тюремный дневник 151
Высылка из Франции 165

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Г. В. Плеханов, любивший Россию умом и сердцем, говорил мне не раз, возмущаясь равнодушным отношением части Запада к мукам родов русской революции: «Неужели в Европе думают, что русские привыкли к тому, чтобы их убивали?». В этом равнодушии европейского общественного мнения к страданиям России,— Христа и великомученицы социальной революции,—виноват не только естественный мелко-буржуазный эгоизм, но и плохое знакомство с русской жизнью. А в этом незнании Европы, надо сказать правду, виноваты и русские. Русский народ и пролетариат, его спаситель, в первую голову умеет страдать и умирать за идею, но не любит об этом говорить. Он умирает молча. Русский народ не фразер. Он действует, но не любит распространяться о своих подвигах. Он как-будто стыдится своих дел и естественно скромен. У него нет ни шипучего, как шампанское, французского красноречия, ни гордого самосознания англичанина, ни самохвальства влюбленного в свою культуру германца.

Но скромность в политике—ошибка. Русский пролетариат возглавлял на протяжении 1905—1917 г. г. три революции. В 1905 г. он потряс до самых основ долговечное самодержавное рабство. В феврале 1917 г. он могучим движением своих гигантских плеч сверг навсегда династию Романовых. А в октябре того же года начал мировую революцию.

Даже с внешней драматической стороны, как головокружительна быстрота смены событий и режимов! На шестой части земного шара, в величайшей мировой империи, в стране, где господствовало тупейшее и глупейшее деспотическое самодержавие, восторжествовало последнее слово социальной науки: научный коммунизм Карла Маркса и Фридриха Энгельса, представленный в России РКП (большевиков).

А то, что последовало затем, уже прямо волшебная сказка. Капиталистический мир ринулся всей силой тяжелой артиллерии на Советскую Россию. Загорелась титаническая борьба в мировом масштабе. И голодная, нищенская, разоренная Россия, благодаря сверхчеловеческому героизму своего пролетариата, победила гордый, богатый, вооруженный до зубов капиталистический мир.

Кто победил? Сотни тысяч и миллионы безыменных героев, которые умели не только жертвовать собой, ставя ни в грош свою жизнь, но также умели использовать страшно сложное положение, приспособляться к постоянно меняющейся обстановке, обходить врага с тылу, вносить в ряды его замешательство.

К таким скромным, малоизвестным в широкой публике,—не скажу героям: это оскорбит скромность моего друга,—но неутомимым и готовым на всякие жертвы борцам принадлежит тов. Деготь, которого я знал в Париже, как преданного и искусного партийного работника - переплетчика. Он именно — носитель того скромного, молчаливого коллективного героизма, которому как-то неловко выпячивать себя публично и который предпочитает работать и умирать в подполье.

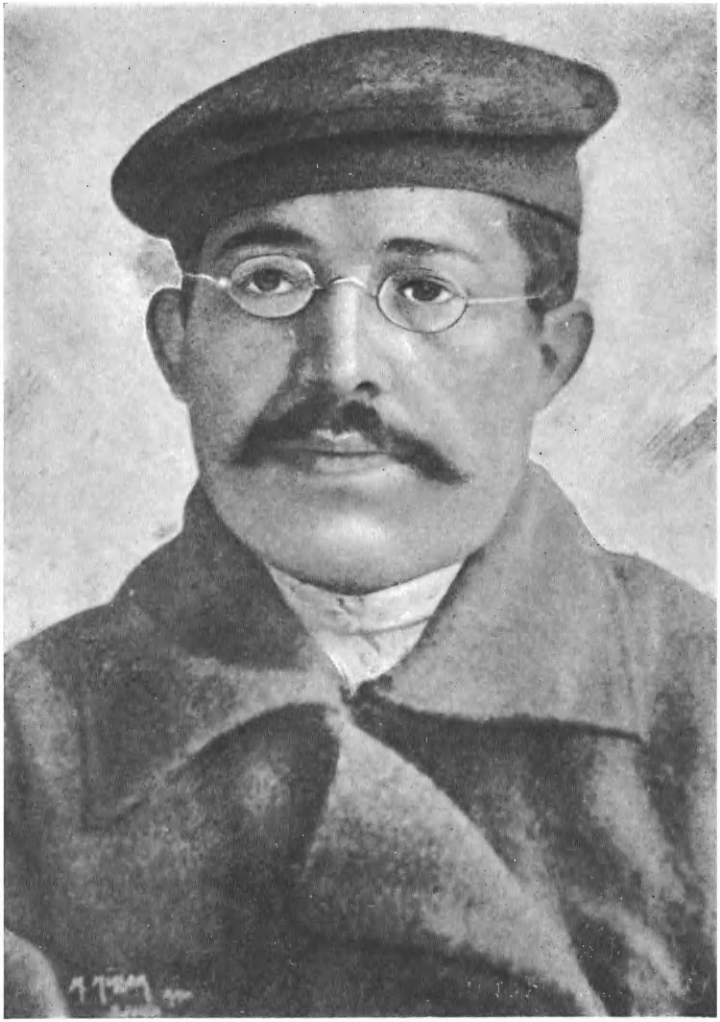
Тов. Деготь рассказывает полные захватывающего интереса эпизоды своей жизни и борьбы в России и в разных странах Европы. Книжка т. Деготя освещает несколько моментов мировой революционной эпопеи, которая разыгрывается на наших глазах, коллективный герой которой—пролетариат. Пусть братья-пролетарии последуют примеру т. Деготя и не постыдятся рассказывать нам свои переживания. Долой ложный стыд и неуместную скромность! Из скромных героических переживаний Деготей составляется коллективный героизм рабочего класса. Пролетарий Деготь—один из миллионов. Ему имя—легион. Но без таких безыменных деятелей история топчется на одном месте. Мало того. Без знания этих индивидуальных переживаний будущий историк не сумеет написать на вечное поучение будущим поколениям историю первой главы мировой революции, написанной русской кровью и русскими слезами.

Сердечное спасибо безыменным российским пролетариям, бесчисленным т.т. Деготям за то, что они своими страданиями, а также своей умелой борьбой нанесли первый серьезный удар старому, гнилому миру и положили первый камень светлому зданию труда, добра и знания.

Х. А. Раппопорт.

Член ЦК комм. партии Франции.

Иваново-Вознесенск.
13 августа 1922 г.



В. Деготь.

ЧАСТЬ I.

Первую часть моих записок посвящаю моей дочурке, пионерке Майе.

Как я стал большевиком.

Родился я в бедной еврейской семье, в деревне Брикванова, Каменец-Подольской губ., Балтского уезда. Отец мой был батраком у еврея-колониста.

Когда мне было около 4-х лет, нас выслали из этой деревни в местечко Валегоцолово, недалеко от Одессы. Здесь мы прожили два года, затем перебрались в Одессу. В это время отец мой работал чернорабочим на мельнице, зарабатывал мало, и мы страшно нуждались. Помню, как я начал учиться грамоте, но года через два родные мои принуждены были меня взять из школы и отдать на фабрику. Тогда мне было всего только 8 лет. Первой моей работой было склеивание коробочек для чая. Со мной на фабрике работало около 50 детей в возрасте от 8 до 14 лет.

Отец мой, человек религиозный, с патриархальными устоями, каждый день рано утром не забывал будить меня на молитву, после чего я должен был итти на работу. Особенно памятны мне зимние холодные утра. В ветхой оборванной одежонке, в дырявых башмаках приходилось бежать с Виноградной улицы (на окраине города), где мы жили, в центр, на Мещанскую улицу, — конец в добрых две версты. А каким праздником было для меня, когда мне давали лишнюю копейку! На нее я мог купить бублик, что разнообразило мой повседневный скудный завтрак, который я покупал в грязной лавчонке за несколько копеек и который состоял из куска хлеба, пары картошек и куска селедки. Детство мое было безотрадное, тяжелое. Я всегда был грустным и задумчивым, мечтая лишь об одном, как бы научиться грамоте. Как мне говорили при случае, своим не по-детски серьезным видом я отличался от своих сверстников.

Так проходили месяцы и годы. Я продолжал работать в душной камере, с тяжелым запахом клея и клейстера, над склеиванием чайных коробочек. Помню, мне тогда страшно хотелось переменить свою работу и поступить учеником в переплетную мастерскую.

Мне казалось, что уже одно соприкосновение с книгами, которые всегда были для меня мечтой, даст мне все то, что я хотел получить и узнать.

В это время я уже бессознательно, конечно, ненавидел религию и религиозные обряды, которые приносили мне столько горя и слез. Почти ежедневно отец бил меня или за то, что я не так помолился, или за то, что опоздал к молитве. Помню, в один из праздничных дней я как-то опоздал к молитве. Отец набросился на меня, как дикий зверь, хотя по природе он был добрейший человек. Темнота и забитость заставляли его мучить детей. Он был уверен, что его дети получат возмездие от бога за вольные и невольные провинности. В тот памятный день он так избил меня, что, вырвавшись от него, я в исступлении крикнул: «Больше никогда не приду домой!»—и убежал.

С этого дня начинаются новые страницы моей жизни. Я поступил в учение на 3 года к одному мелкому ремесленнику-переплетчику. Только за то, что я у него ел и имел угол, он прямо безбожно эксплоатировал меня. Хотя мне было тогда всего 11 лет, я таскал на себе целые кипы книг по пуду-полтора весом. Идя на базар, хозяйка обыкновенно брала меня с собой, накупала провизии и взваливала на меня. На мне же лежала вся черная работа по хозяйству. Спать приходилось на обрезках бумаги; камень, на котором «круглили» книги, служил мне подушкой. К родным своим я не ходил. По ночам, после мучительно-тяжелой работы, я часто украдкой плакал. Так прошел год. За это время я кой-чему научился.

Однажды мне пришлось с Канатной улицы, где помещалась мастерская, тащить целую кипу книг около пуда весом к фабриканту Вальтуху, жившему на Прохоровской улице. Расстояние было в 6 верст. Среди книг, которые я нес, были полные собрания сочинений наших классиков в хороших переплетах, изготовленных в Питере и нами только прикрепленных к книгам. По дороге одну из этих книг я потерял. Вальтух, узнав это, выгнал меня. Хозяин, озлобленный за то, что из-за моей оплошности он потерял заказчика, ударил меня. В тот же день я ушел от него и затем поступил в другую переплетную мастерскую, где мне сразу положили 3 рубля жалованья «на всем готовом».

Среди всех работавших в этой мастерской мне очень нравился один студент, который успевал и работать и учиться. К нему часто приходили другие студенты. Они читали книги, какие-то листки, спорили; уходя, забирали с собой книги,—и все это делали так, чтобы никто не видел.

Я тогда уже слышал о социализме, но значения этого мудреного в то время для меня слова, конечно, не понимал. Ночуя вместе со студентом, я видел, как он часто далеко за полночь или читал, или писал что-то. Со мной он обращался как-то особенно дружелюбно, не как другие рабочие, и я его буквально боготворил.

Однажды ночью раздался сильный стук в дверь, и затем в нашу комнату ворвались жандармы. В сильном испуге я продолжал лежать на полу, не двигаясь с места, но удар ногой поднял меня, и я вскочил. Жандармы перерыли все в нашей комнате и, как видно, что-то нашли. Студент был спокоен, с ним обращались удивительно вежливо. Когда ему велели одеться, я еле-еле удержался, чтобы не расплакаться; он заметил это, подошел ко мне с улыбающимся лицом, поцеловал меня в лоб и сказал:

— Вырастешь, Володя, все поймешь, а пока прощай.

Его увели. С этих пор я стал жить мечтой о том, чтобы достать те книги и листки, которые он читал, и узнать, что там написано.

В то время, т.-е. в 1901—1903 г.г., правительство пыталось посредством зубатовщины—устройства касс взаимопомощи, артелей и т. п.—отвлечь рабочих от политической борьбы. По всей России организовывались тогда артели ремесленников. Рабочих это привлекало тем, что они будут работать без хозяина. Такую артель организовали в Одессе и рабочие-переплетчики, куда вошли самые лучшие мастера города. При помощи одного рабочего, который посещал студента, я тоже вступил в эту артель. Я был уверен, что, работая вместе с этим рабочим по фамилии Митковицер, я скоро достану те секретные книжки, которые он читал со студентом. Этот Митковицер впоследствии сыграл крупнейшую роль в моей жизни. Мне минуло тогда 14 лет. Я недурно работал, и мне сразу положили 10 рублей в месяц, на которые я мог уже сносно существовать.

Но вот вспыхнула всеобщая забастовка или, как ее называли, «зубатовская» забастовка. Десятки тысяч рабочих демонстрировали по улицам, снимая тех, которые еще работали. Артель наша вся бросила работу. Митковицер дал мне важное поручение: я должен был рассыпать в собравшейся на митинг толпе в Дюковском саду целую пачку прокламаций. Когда сад наполнился рабочими, я вскарабкался на дерево и оттуда разбросал все прокламации. Прокламации эти тут же читались нарасхват. То здесь, то там выступали ораторы, призывая рабочих к борьбе против самодержавия. Митковицер влез на дерево и обратился с речью к толпе. Я стоял, как очарованный, и ловил каждое слово моего любимого старшего товарища.

Но вот как из-под земли налетели казаки. Мгновенно все изменилось, пришло в смятение: крики, свист нагаек, люди бегут в паническом ужасе, падают друг на друга... У меня одна мысль: спасется ли Митковицер? Не успел я оглянуться, как схватывают его какие-то штатские (шпики) и начинают бить, а казаки нагайками помогают им. Окровавленного, его отвозят в полицию с еще несколькими товарищами, между которыми одна девушка все время кричала «долой самодержавие!» и за каждый выкрик получала удары нагайкой. Какое сильное озлобление и желание убить хоть кого-нибудь из этих опричников почувствовал я при виде всей этой кошмарной картины!

Дальше я попал в нелегальный кружок, где мне вместе с другими молодыми товарищами было поручено устроить кражу шрифта в крупных типографиях для постановки подпольной типографии. Это задание мы выполнили быстро и успешно.

Но чем глубже вникал я в работу кружка, тем сильнее чувствовал свое невежество. Моего друга, который мог бы раз'яснить мне волнующие меня вопросы, уже не было со мной. Он сидел в тюрьме, а без него я чувствовал себя одиноким и маленьким.

По совету одного из моих молодых товарищей, я поступил в воскресную школу, но поучиться в ней мне пришлось недолго. Однажды школу окружила полиция и арестовала наших учителей, после чего школа надолго закрылась.

В то время сильное влияние оказывала на меня член тогдашнего партийного комитета под кличкой «Лиза». Она была учительницей; стриженная, в пенснэ, она всегда курила; мне почему-то казалось, что она москвичка. Отношение ее ко мне было удивительно хорошее. Жила она на Прохоровской улице в маленькой комнатке, и я часто бывал у нее, брал литературу, узнавал политические новости дня: где была и как прошла массовка или летучка, что сделано и что нужно сделать и пр. Благодаря ее влиянию, я и стал большевиком.

После раскола партии на большевиков и меньшевиков она созывала группы таких же, как и я, рабочих и читала нам, с пояснениями, большевистскую газету «Вперед». Я как-то бессознательно был всецело на стороне большевиков. В них я чувствовал настоящих революционеров и истинных защитников рабочего класса.

Оглядываясь теперь на всю мою 20-летнюю партийную деятельность, могу сказать, что у меня никогда не было уклона от большевистских позиций. Но в описываемое время во мне скорей говорили чувства, чем убеждения...

Влияние и работа Одесского комитета большевиков в 1905 году.

В 1905 году я много работал по разным кружкам и уже руководил большими забастовками. Старшие рабочие относились ко мне с уважением, зная, что я социалист и в работе по мастерской хороший работник, а это последнее обстоятельство, несомненно, имело свое значение. В то время я уже знал, что Митковицер так же, как и мой первый учитель-студент, административно сослан в Сибирь. Увидеть их снова я не имел никакой надежды.

Но вот однажды заходит ко мне в мастерскую незнакомая мне девица и просит меня притти по указываемому ею адресу, где меня ждет какой-то товарищ. Когда я в назначенный час пришел, меня встретил прилично одетый господин, которого я не узнал до тех пор, пока он не заговорил. Это был Митковицер, бежавший из Сибири.

После нескольких минут радостного свидания, он сказал:

— Ну, что, Володя, я слышал, что ты большевик?

— Да, а разве вы нет?

— Нет, я меньшевик.

Видя по моему лицу, что мне больно слышать такую весть, он стал доказывать, что я иду по сектантско-анархическому уклону, в какой, по его мнению, ударились большевики только по незрелости своей мысли. Спорить я с ним не мог, но чувствовал, что чем больше он говорит, тем больше он неправ. Ему, как видно, было не совсем приятно, что его ученик идет по другому пути. Прощаясь, он сказал, что едет в Питер. Увидел я его еще раз в эмиграции— в Париже в 1908 г.

Возвращаюсь к моей теме.

Должен заметить, что большевики всегда были слабы в Городском районе—не только в 1905 году, но и вплоть до Февральской и после Февральской революции. Об'ясняется это тем, что в Городском районе не было крупных фабрик и пролетариат был представлен там, главным образом, ремесленниками, приказчиками и рабочими небольших типографий, табачной фабрики Попова и чайно-развесочной Высоцкого. В конечном счете в Городском районе большевики были сильны у печатников, среди которых и насчитывали несколько десятков членов; там у них были очень видные работники, выбираемые в городской комитет, как, напр., «Лева», он же Цейнерман, Андрей, Гриша и ряд других, которые потом вошли в правление союза печатников. Большим влиянием в рабочей среде большевики пользовались еще на фабриках Попова и Высоцкого.

Меньшевики имели большинство в Городском районе, главным образом, у приказчиков, ремесленников и среди студентов, а также у печатников, где у них тоже были сильные работники. Партийные организации охватывали несколько районов, как-то: Городской, Дальницкий, Пересыпский и Железнодорожный. Из этих районов большевики были сильны на Пересыпи, Дальнике (крупные заводы) и у железнодорожников.

Партийной литературы издавалось очень много, прокламации меньшевиков и большевиков печатались почти еженедельно в нескольких тысячах экземпляров, и мы, молодежь, распространяли большевистские прокламации, разбрасывая их или рано утром по путям следования рабочих на работу, или расклеивая на столбах, но, главным образом,—на фабриках, до прихода рабочих на работу. Для этого мы старались проникнуть в фабричные корпуса пораньше и там подбрасывали наши прокламации в ящики рабочих.

Массовки, которые от времени до времени устраивались в закрытых помещениях, большей частью происходили в квартирах рабочих и собирали до 30—40 человек. Обычными темами этих массовок были—раз'яснение в популярной форме того, какие цели ставит себе партия и какие задачи стоят перед рабочим классом. Большой популярностью, как агитаторы, пользовались в рабочей среде наши товарищи—Тарас, Александр Кацап, Роберт, Даниил и др.

Кроме того, для повседневной работы партийцами были организованы кружки, в которых и занимались рабочие. Кружки эти делились на «первые» и «вторые», при чем более развитые попадали в один кружок, менее развитые—в другой. Нужно сказать, что пропагандисты, которые занимались в этих кружках, в громадном своем большинстве не имели никакого опыта, никакого плана программы занятий. Это были молодые студенты, которые искренно были убеждены, что они приносят пользу, но на деле давали очень мало, за некоторыми, конечно, исключениями. Хорошо помню, что руководители кружков часто менялись, что, разумеется, тоже не способствовало успеху дела. Так, один ставил в кружке занятия по истории культуры, сменявший его другой руководитель начинал с политической экономии, третий — о партийных разногласиях и т. д. Одним словом, получалась порядочная каша, из которой рабочие или ничего, или очень мало выносили. Несравненно больше давали изучение и обсуждение статей газет «Вперед» и «Искра» и, наконец, дискуссии, на которых выступали серьезные докладчики. Слабость работы заключалась еще в том, что малоопытные руководители не старались втягивать рабочих в руководящую работу: главную роль во всей работе играла интеллигенция, и если арестовывались товарищи-руководители, то само собой надолго прерывалась и работа.

У большевиков таких конфуных положений было меньше, так как им приходилось больше всего работать в рабочих районах, где сама рабочая среда выдвигала активных работников, но все-таки в Одесском комитете процент рабочих был небольшой, а иногда их и совсем там не было.

Раскол в одесской организации начался в начале 1905 года. Хотя комитет стоял на точке зрения большевиков, но пропагандистская коллегия в своем большинстве была против большевизма и против созыва III с'езда партии. Если мы возьмем документы, которые напечатаны в № 6 «Пролетарской Революции» за 1925 г. (переписка Ленина и Крупской с одесской организацией), то увидим, что раскол возник в январе 1905 года, когда пропагандистско-агитаторский центр, не подчиняясь директивам Одесского комитета и стараясь дискредитировать его, обсуждал и решал вопросы, которые совершенно его не касались. Так, например, на одном из заседаний, где товарищ Осип (Левицкий), секретарь тогдашнего Одесского комитета, предложил проредактировать прокламации с призывом к всеобщей забастовке, которые комитет решил выпустить, члены названного центра возражали против напечатания их, предлагая сначала выбрать председателя собрания. Читая этот документ, получаешь впечатление, что во всем виноват Одесский комитет, но это, несомненно, не так. Меньшевики тогда везде говорили о демократии, о выборности, выступая против большевиков, которые считали, что при тех условиях, в которых находится партия, не может быть и речи о правильной выборности, что должна быть сильная централизация и что если дело требует, то должен

кооптироваться товарищ в комитет партии и назначаться на определенную работу. Но меньшевистская интеллигенция своей демагогией везде и повсюду стремилась дискредитировать большевиков и без представителя комитета решать вопросы так, как ей это было угодно и выгодно. Вообще представители меньшевиков пользовались каждым случаем, чтобы расколоть одесскую организацию. Особенно возмущались они против газеты «Вперед» и старались дискредитировать Ленина и газету, что им было очень легко делать, так как они являлись пропагандистами и агитаторами Одесского комитета.

Вот, например, протокол заседания 3 января 1905 г. пропагандистско-агитационного центра, который дает полную картину, как вели себя меньшевики в то время:

«В понедельник, 3/I, согласно установившемуся обычаю, должно было состояться собрание пропагандистов и агитаторов одесской с.-д. организации. Своевременно все члены коллегии были оповещены о том, что собрание имеет состояться в 7 ч. вечера, и настойчиво обращено внимание членов на необходимость не запаздывать. К 6½ час. вечера собрались все члены коллегии в числе 24 человек. Не оказалось налицо одного лишь представителя от комитета. Когда часы пробили 8 и представителя комитета все еще не было на месте, некоторые товарищи обратились к собранию с вопросом, не находят ли все товарищи нужным открыть собрание без представителя комитета, не явившегося, несмотря на переданное приглашение. Собрание решительно высказалось за желательность открытия заседания. В интересах порядка собрания нашли нужным избрать на этот вечер председателя из среды присутствовавших товарищей вместо обычно председательствующего представителя от комитета, на этот раз отсутствующего. При сем некоторыми из старых товарищей было заявлено, что представитель комитета председательствовал на прочих собраниях на основании молчаливого согласия товарищей, но не на основании какого-нибудь правила организации, точно так же в случае его отсутствия и в прежнее время собрание приступало к обсуждению очередных дел, избирая в председатели кого-либо из имеющихся налицо товарищей. В 8 часов вечера председатель открыл собрание. Согласно обычному порядку, приступлено было к выработке порядка дня. Собрание остановилось на следующем порядке дня:

1. Обсуждение вопроса об отношении партийных работников к выступлению литературной группы Ленина и Бонч-Бруевича, к органу «Вперед» и открыто провозглашенному этой группой призыву к расколу в партии.

2. Обсуждение вопроса об отношении соц.-дем. партии ко всем оппозиционным общественным группам.

3. Обсуждение вопроса об отношении пропаганды и агитации.

Спустя короткое время после того, как приступлено было к обсуждению первого очередного вопроса, явился представитель комитета, сопровождаемый двумя другими товарищами, членами мест-

ного комитета. На протест, выраженный одним из пришедших товарищей против избрания председателем не представителя от комитета, имеющего, по его словам, исключительное право председательства в этой коллегии, собрание еще раз подтвердило, что оно избрало председателя на данный вечер без каких-либо иных полномочий, кроме руководства данным заседанием, и не видит никакой надобности вместо этого председателя избрать другого, хотя бы этот другой был явившийся на 2 часа позже представитель от комитета. По желанию собрания председатель изложил запоздавшим товарищам ход заседания до момента их прихода и предложил продолжать обсуждение очередных дел. Представитель от комитета, однако, не удовлетворился об'яснениями и настаивал на своем исключительном праве председательствовать и предлагал свой порядок дня, в противном случае он считает собрание «распущенным». Кроме того, он заявил, что собрание незаконно еще потому, что сюда явились лица, по его словам, не входящие в пропагандистский центр. Собрание протестовало против этих доводов, указав еще раз: 1) на право коллегии избирать на каждое данное собрание своего председателя без всякого нарушения полномочий представителя от комитета, 2) на давно установившийся обычай, признанный и представителем от комитета, вырабатывать порядок дня собрания на самом собрании и 3) на тот факт, что на одном из предыдущих очередных собраний при участии представителя от комитета и с его согласия найдено нецелесообразным и практически неосуществимым разделение работников на 2 коллегии—пропагандистов и агитаторов, принятый же способ механического разделения на 2 группы без различия функций поставлен в зависимость от того, имеется ли квартира для общего собрания, что на этот раз разрешилось в утвердительном смысле. Одним из пришедших вместе с представителем от комитета членом комитета было заявлено, что коллегия может, как таковая, заниматься лишь практическими вопросами, касающимися хода работы, если же она поставила на очередь дня общепартийные вопросы, то следует считать собрание частным совещанием. Такое представление о правах коллегии встретило единодушный протест со стороны собрания. После этого неожиданно другой из членов комитета просит слово к порядку заседания и говорит, что имеет сделать з а я в л е н и е, которое положит конец всем дебатам по данному вопросу. Ему дано слово, и он говорит: «Заявляю от имени комитета, что если собрание остается при своем решении оставить избранного председателя вместо представителя от комитета, то комитет считает собрание распущенным и удаляется из зала заседания. Комитет просит товарищей последовать за ним. Те же товарищи, которые после данного заявления не удалятся из залы заседания, будут считаться исключенными из организации». После сделанного заявления удаляется представитель комитета, товарищ, сделавший это заявление, третий товарищ, явившийся вместе с ним и не состоящий членом данной коллегии,

а с ними еще 4 товарища; в зале заседания остается 20 товарищей, громко выражающих свой протест против такого поступка товарищей с согласия и без всякого возражения со стороны представителя от комитета. По желанию собрания председатель отправляется вслед за удалившимися товарищами и настойчиво просит представителя от комитета вернуться и дать товарищам официальное, мотивированное об'яснение своего ухода и сделанного заявления об исключении товарищей из организации. Представитель от комитета отказывается давать об'яснения и удаляется.

(Примечание комитета: следующие строки зачеркнуты в протоколе такими же чертами, как и здесь) [1].

Один из ушедших товарищей, член комитета, возвращается и как «частное лицо» (таковы его слова) сообщает собранию, что товарищ, сделавший заявление «от имени комитета», высказал лишь свой «личный взгляд», а на вопрос,—почему представитель от комитета не сделал возражения и удалился вместе со сделавшим это заявление «от имени комитета», этот товарищ никакого об'яснения не дал и повторил, что это лишь «частная беседа». Таким образом, собрание оказалось вынужденным пока считаться со сделанным заявлением и с фактом молчаливого согласия с ним представителя от комитета. Не получив никакого мотивированного об'яснения от представителя комитета, собрание решило впредь до выяснения вопроса продолжать свою работу и приняло следующую формулу перехода к очередным делам: «отлагая обсуждение вопроса о нашем отношении к местному комитету до того момента, когда комитет представит нам свою письменную мотивированную резолюцию по данному вопросу (уход из собрания и угроза исключения из организации), собрание переходит к обсуждению очередных дел».

После этого собрание продолжало обсуждение первого пункта порядка дня (отношение к группе «Вперед» и ее призыву к расколу). Собрание единодушно осудило попытку этой группы расколоть партию».

А вот другой документ, относящийся ко времени послеянварских событий, когда нужно было экстренно выпустить прокламацию. Товарищ, который пишет, был совершенно прав, говоря, что рабочие были возмущены поведением меньшевиков.

«Меньшинство продолжает скандалить. Комитет решил выпустить листок с призывом к всеобщей забастовке. Трое комитетчиков отправились с текстом листка в собрание пропагандистов и агитаторов. Ответственный пропагандист обратился к собранию с заявлением, что комитет находит необходимым отложить всякие вопросы и тотчас же приступить к обсуждению листка (редактировать его в таком многолюдном собрании, конечно, нельзя) и планов дальнейшей деятельности организации. Тогда из собрания выступило лицо с вопросом: «товарищ Осип Иванович, кто выбрал вас председателем?». Ответ: «комитет». Заявляют, что председатель

[1] Следующая фраза в оригинале зачеркнута вертикальными чертами.

должен быть избран собранием. Тогда представитель комитета обращается к собранию с вопросом, желает ли оно приступить к обсуждению листка или выбирать председателя? Раздаются голоса: «избирать! избирать!». Протестов нет. Представитель комитета об'являет данное собрание закрытым и предлагает желающим обсудить листок и текущие события удалиться вместе с ним в другое помещение. 8 человек удаляются за ним из залы собрания. Пока они одеваются в передней, из залы выбегает представитель собрания и говорит: «Товарищ Осип Иванович, собрание избрало вас председателем», и получает ответ: «нам больше не о чем с вами разговаривать». Разрыв, очевидно, полный. Завтра выходит листок, организуются силы для предстоящих событий. Даже общественное мнение более отдаленной периферии, кажется, возмущено, наконец, поведением меньшевиков».

Почти на всех собраниях стараниями меньшевиков устранялись от обсуждения практические вопросы, которые волновали рабочие массы, как всеобщая стачка города и ряд экономических стачек, происходивших в то время, и вместо этого поднимались вопросы о большевиках, а также о газете «Вперед» и т. п. Мало освещались также январские события, происходившие в Питере, хотя нас, молодежь, все эти вопросы страшно интересовали; мы увлекались Гапоном, не понимая его роли, а пропагандисты-агитаторы не находили нужным отзываться на эти политические события. Излишне говорить, конечно, что представители меньшевиков одесской организации действовали так с ведома и одобрения своих лидеров.

Об этом свидетельствует найденная в Одесском охранном отделении копия письма Мартова (Юлия Цедербаума)—Константину Аввакумовичу Оулаквелидзе от 2 августа 1904 г. н. ст. из Вены:

«Нилу. Дорогой товарищ. Ваши два письма получили. Получили ли наше письмо, посланное заказным по тому же адресу, который вы нам дали? По поводу этого письма нам необходим ответ, т. к. преторианцы Ленина опубликовали текст того письма, копию которого мы вам послали, и утверждают, что мы никакого запроса не послали.

Между тем письмо было послано около 3 недель тому назад. Отношения становятся здесь крайне обостренными. Преторианцы бьют на раскол и производят один скандал за другим. Во-первых, вскоре после вашего от'езда мы получили бумагу от Олина, Лядова и Бонча о том, что они за от'ездом Ленина и Бориса являются уполномоченными ЦК. На это редакц. ответила и Лига также, что заявление это мы считаем недействительным до подтверждения его ЦК или заявлением, подписанным Борис. и Лениным вместе. Тем не менее эти трое продолжают упорствовать и недавно отказали,—в качестве уполномоченных ЦК,—Лиге в выдаче № 69 «Искры», ссылаясь на то, что Лига не уплатила всех причитающихся с нее денег за июль. Всех денег она и уплатить не могла, так как от группы, в виду от'езда студента в Россию, деньги поступают крайне неправильно. Кроме того, все наличные деньги группы

расходуют на «оказии». Отказ экспедиции—без предупреждения вызвал огромный скандал во всех колониях. Нам придется выйти из этого дела открытием своей собственной типографии, если ЦК не примет тотчас же каких-нибудь решительных мер. Необходимо, чтобы был прислан человек с полномочиями устроить хотя бы эти технические дела и устранить возможность повторения таких и подобных скандалов. Обращаем внимание, что по отз. загр. отд. ЦК им было собрано за июль мес. 7.000 фр.,—все крики о безденежье являются в данном случае простым лицемерием.

Просим немедленно принять экстренные меры. Пришлите адрес для переписки. Всего хорошего» [1].

Письмо это показывает, как лидер меньшевиков всякими способами боролся с большевиками.

После раскола работа, несомненно, улучшилась, чувствовалась определенная дисциплина, на ответственную работу привлекалось больше молодых рабочих, посылались испытанные пропагандисты-агитаторы, которые имели определенные директивы. Материал для пропагандистов-агитаторов был богатый: забастовочное движение, большая безработица в Одессе, июльская всеобщая забастовка, «Потемкинские дни» и митинги в университете, которые беспрерывно происходили во всех аудиториях. Все это волновало и наэлектризовывало широкие рабочие массы, и нужен был лишь централизованный кадр партийцев, который мог бы руководить всей работой.

Из приводимых ниже материалов охранного отделения видно, какую оценку оно давало тогдашней большевистской организации. Массовые аресты свидетельствуют об усилиях охранки уничтожить Одесский комитет до об'единения его с меньшевиками. Нужно сказать еще, что комитет во время забастовки, возникшей на экономической почве, посылал своих работников; последние руководили стачечниками и принимали участие в выработке требований, в которых на ряду с экономическими выставлялись и политические требования. Стачечный комитет был всегда под влиянием социалистических организаций.

Если взять забастовки печатников, переплетчиков, забастовку у Высоцкого и на Дальнике, то увидим, что во всех этих выступлениях принимали участие большевики, которые или сами руководили забастовкой, или совместно с представителями меньшевиков и бундовцев. Последние, нужно сказать, имели небольшое влияние на рабочих, кроме разве приказчиков. Меньшевики имели несомненно большое влияние в Городском районе, и с ними приходилось считаться во время руководства экономическими забастовками.

Приведем полностью «Изложения и выборки об Одесском комитете Всероссийской социал-демократической рабочей партии», извлеченные из архива охранного отделения. Думаем, что этот материал

[1] Дело Одесского охранного отделения: «Неисполненные бумаги», № 302. I. 1905 г. (Химический текст).

дает гораздо больше, чем отдельные воспоминания товарищей. Он дает картину, в каких тяжелых условиях работали наши товарищи, и в то же время указывает на умелую «работу» охранного отделения, которое через своих агентов и провокаторов всегда было осведомлено о том, что проделывается организацией, чем и об'ясняются частые аресты руководителей нашей партии.

«Изложения и выборки об Одесском комитете Всероссийской социал-демократической рабочей партии.

Одесский комитет Российской социал-демократической рабочей партии, главным образом, проявлял свою деятельность лишь путем агитации как словом, так и литературой. Только в исключительно редких случаях деятельность их членов выражалась в применении оружия и других более энергичных способов проведения своей программы.

Агентурные пути указывают на очень немногое число таковых фактов. Подтверждением вышесказанного может служить то обстоятельство, что для вооружения членов понадобились экстраординарные суммы, на которые были приобретены револьверы, палки и т. д.

Ни в какой другой организации мы не видим столь многочисленных выпущенных воззваний и столь упорного преследования своих идей, как у социал-демократов, что в свою очередь наводит на мысль о недостаточности веских аргументов, говорящих в пользу демократов.

Январь 1905 г. увидал первыми воззвания социал-демократов местного комитета «Ко всем рабочим г. Одессы». Направляя, главным образом, если не исключительно, свою деятельность *среди фабричного населения* [1], (они) вербовали из их среды членов, которые в свою очередь организовывали около себя кружки. Так, в последних числах декабря 1904 г., по инициативе «Петра», было решено образовать «агитаторский центр», задача которого должна была сводиться к об'единению деятельности всех кружков.

В состав агитаторского центра вошли «Петр» («Герасим»), члены «комитета» студент Марцелий Натанов Нейдинг, Яков Ицков Кирилловский, известный в организации под кличкой «Даниил», Моисей Михелев Лашевич, он же Гаскович (именуемый «Мишкой Трудником» и «Владимиром»), Александр Ильич Чернявский, Кишеван Киршев Миллер («Семен»), Яков Авксентьев Поспелов и Иван Ананьев Авдеев, «Трофим», «Андрей», Андрей Александров Поляков, под кличкой «Александр», Левий Ицков Эпштейн, под кличкой «Степан», Шейна Соня Менделева Штейнберг, в организации известная под кличкой «Хая».

Первое собрание происходило 2 января 1905 г. у Марголины Берты Хаимовой Поляк, присутствовали: Нейдинг, Кирилловский, Ла-

[1] Курсив наш.—*В. Д.*

шевич, Чернявский, Миллер, Поспелов, «Трофим», Эпштейн, Штейнберг. Собрание происходило под руководством Кирилловского в отсутствии квартирохозяйки Поляк.

11 января многие члены агитаторского центра были обысканы и заключены под стражу. По обыску в общей массе обнаружено значительное количество рукописей, переписка, брошюры и воззвания.

Желая вернее повлиять на умы населения, социал-демократы выбрали довольно удачно, сказать правду, день 19 февраля для выпуска своих воззваний «Дворянская реформа и всенародная революция (19 февраля 1861 г.—19 февраля 1905 г.)», целиком в количестве 3000 шт. из'ятых агентурным путем.

19 же февраля на собраний комитета социалистов-демократов присутствовали Соня Еселева Ривзин, «Евгений», «Сергей», «Настя», «Осип», «Сойфер», «Наташа», «Леня», «Миша». Председательствовала «Соня», разбирался вопрос о вооружении.

Вскоре после 19 февраля вышли воззвания «Вперед».

По имеющимся сведениям, в Одессе проживает группа лиц, составляющая интеллигентный кружок, который занимается распространением нелегальной литературы. В состав кружка входят: Федор Александров Нейман, его жена Ольга Львова Нейман, Гродский, Цвиллинг, Григорий Ткач, Гайдеймахер, Залесский, Гершот, Ольга Львова Левинсон, мать ее — Элеонора Маркова Левинсон и Селезнев.

5-го марта член организации Константин Осипов Левицкий выехал в Петербург. В организации Левицкий известен под кличкой «Осип Иванов» и «Андрей Николаевич».

В первой половине марта вышли воззвания «Политика насилия и обмана», издания Одесского комитета Российской с.-д. раб. партии, «Манифест и рескрипт 18 февраля», «Что надо требовать» и гектографированное воззвание «Письмо из Одесской тюрьмы».

10 марта уехал в Москву Петр Кауфман, в организации именуемый «Бравым».

Несмотря на раз'езды членов, постоянно происходят между ними сношения. Есть основание думать, что каждое воззвание не выпускается без одобрения чуть ли не всех членов организации.

Приблизительно во время от'езда Кауфмана из Одессы прибыла в г. Екатеринослав мещанка Геля Мовшева (Менделева) Файнштейн с членами местной организации социал-демократов «большинства». В начале мая изданы воззвания «Первое мая».

Паспортное бюро Одесского комитета Российской социал-демократической рабочей партии располагает поддельной печатью управления смоленского мещанского старосты, чем и пользуется в широких размерах.

Уже с конца марта 1905 г. местные соц.-дем. организации приступили к сбору денег на приобретение оружия разного рода.

Для сего Одесским комитетом Российской социал-демократической рабочей партии были выпущены особые марки для сбора денег,

на различные цены, и подписные листы и чеки с надписью «Жертвуйте на самооборону против погрома, который полиция готовит к 18 апреля». Закуплено оружие у белецкого мещанина Самуила Якова Эликова Острфельда и ротмистровского мещанина Шмуля Иосифа Гершкова Белоцерковского.

За несколько дней до праздников пасхи из'явившие согласие на вооруженную самооборону были разделены на участки.

В виду сего 17 апреля были произведены обыски. У Острфельда обнаружено 31 револьвер системы «Смита и Вессона» и 1500 патронов к ним; у Белоцерковского—4 револьвера, 155 патронов к ним и 2 экземпляра воззваний «1-е мая—18 апреля»; у Гехта—11 больших кизиловых палок; у Залужецкой ничего явно преступного обнаружено не было.

Острфельд, Тумаркина и Белоцерковский заключены под стражу.

В мае месяце агентурным путем были из'яты оригиналы воззвания под заглавием: «Извещение о третьем с'езде Российской социал-демократической рабочей партии» и «В комиссии Коковцева».

2-го июня захвачено собрание из 14 человек, в том числе—два представителя комитета, три агитатора.

В сносочной квартире Думбровского взято около 3400 экземпляров воззваний, а у Иды Кушнир—10 фунт. шрифта, арестовано 16 человек.

Заключены под стражу кишиневский мещанин Василий Лаврентьев Степанов, в организации «Христофор» и «Порфирий», и Татьяна (Тауба) Михайлова Левинсон.

В августе месяце, по поступившим сведениям, Одесский комитет Российской социал-демократической рабочей партии «большинства» и комитет «Бунда» агитируют среди переплетчиков за забастовку.

На собрании 23 июля среди переплетчиков в числе до 40 человек, в помещении одесской переплетной артели, невыясненный представитель «большинства», еврей, говорил речь, в которой доказывал необходимость всем вести политическую борьбу, после чего выступил рабочий «Лева», об'явив, что после 24 июля начинается забастовка переплетичков.

24 июля задержаны были снимавшие переплетчиков, не желавших примкнуть к забастовке, «Лева», мещанин Лейзер-Лейба Говшиев Цейнерман,—«Лазарь», бердичевский мещанин Лазарь Ицков Линский и приезжий из Кишинева Нехамий Тойвелев Гайзман. Цейнерман, Линский и Гайзман заключены под стражу.

Из Екатеринослава выехал в Одессу мещанин Зельман Борухов Давидов Казлингер, он состоял членом местного социал-демократического комитета.

19 сентября из'яты агентурным путем: «Отчет Одесского комитета», «Решение Одесского комитета». Около этого времени из Харькова в Одессу выбыл нелегальный с революционной кличкой «Артем».

Из'яты около 15 сентября секретным путем воззвания—«Кто виноват», с надписью от Бюро Южного областного комитета Российской социал-демократической рабочей партии, присланные Цвирко-Гводзицкому; кроме того, вскоре еще рукопись «Резолюция Одесского комитета о Государственной Думе», гектографированные: «Отчет кассы Одесского комитета» и «Решения Одесского комитета» №№ 2 и 3.

В состав местного комитета Российской с.-д. рабочей пар. фракции «большинства» в последнее время вошел один неизвестный, именуемый в организации «Даниилом», который под той же кличкой состоял организатором Выборгского района в Петербурге и в августе месяце высланный оттуда.

Ответственный организатор, именовавшийся в организации «Наумом», после июньских беспорядков выехал в Харьков, где поддерживал сношения с членами организации, удерживаясь по причине болезни от активной деятельности.

В начале ноября месяца вышли воззвания: «К рабочим и крестьянам», изд. Центрального комитета Российской социал-демократической раб. партии, которые распространялись членом центрального кружка «Александром».

После административной высылки из Одессы Левицкого («Дядя») деятельность комитета временно приостановилась и сосредоточивалась лишь на незначительных собраниях. В последнее время комитет сорганизовался вновь, в состав его вошли следующие лица: «Сергей Иванович», «Яков», «Кирилл», «Даниил», «Василий Иванович», «Анатолий» и «Кузьма», Иван Ананьев Авдеев, «Петр», Моисей Михелев Лашевич—он же Гаскович («Мишка Труднику»).

8 сентября состоялось собрание комитета.

Около 15 октября появились прокламации «Кровавый царь», «Ко всем гражданам», «К новобранцам», рукописи: «К вопросу о партийном об'единении» и «Воззвание информационного бюро при ЦК РС-ДРП» и «Положение о профессиональных союзах».

Из приведенного документа видно, что охранка прекрасно знала фамилии и партийные клички товарищей, из чего следует заключить, что провокатор был близок к комитету.

Ленин—делегат от одесской организации на III е'зде партии.

Очень важно осветить вопрос о том, как Владимир Ильич попал на III с'езд партии от одесской организации. Это в упомянутых материалах, напечатанных в №№ 6 и 7 1925 «Пролет. Революции», выявлено недостаточно полно. Письма Ленина и Крупской и т. Книпович привожу полностью, так как они вскрывают эпизод посылки Ильича довольно ясно; но один момент в этой переписке не освещен—откуда пошел слух, что будто Ленина исключили из партии. В Одесском истпарте я нашел письмо т. Землячки, о которой говорит т. Книпович. В этом письме есть фраза, что Ленин исключен

был партийной организацией. Вот почему одесские товарищи волновались и хотели дать Ленину мандат не от николаевской организации, что могло вызвать возражения, а от одесской организации. Остается только неясным, почему Землячка писала об исключении: была ли это просто ошибка, или она хотела сказать что-то другое? Вот что пишет тов. Книпович:

«Письмо ваше от 25/III получено. «Вперед» приходит в конвертах, но до нас доходит в очень немногих экземплярах, но кажется, что его больше зажиливают, чем он пропадает. Первичная явка наша действует хорошо, но если вы уже хотите, то пришлю вам еще одну. Вчера получили декларацию ЦК и БКБ с просьбой оповестить здешнюю «Группу ЦК» и Крымский союз о том, что делегаты должны уже быть не позже 22/IV в организационном комитете. Получили еще письмо от Землячки, в котором она сообщает, что так как тов. Ленин исключен из партийных организаций, то он не будет на с'езде, если не получит мандат Николаевского комитета. Николаевский комитет уже неделю тому назад заявил нам, что передал свой мандат Ленину, но мы не советовали бы ему делать это, так как мандат Николаева может оказаться спорным, ибо в Николаеве сейчас 2 комитета: и меньшевистский и большевистский, одновременно возникшие и имеющие одинаковые связи. На это возражение Николаевский комитет передал свой мандат Одесскому комитету, который вчера, по прочтении письма Землячки, постановил заявить БКБ-ва, что в виду того, что Николаевский комитет передал свой мандат тов. Жозефине, Одесский комитет берет свой мандат от тов. Жозефины и передает его тов. Ленину, которому и сообщает все нужные для с'езда материалы. Скоро пришлем ему доклад, а тов. Жозефине—доклад Николаевского комитета. О том, чтобы просить с'езд о совещательном голосе для Даниила, Одесский комитет и слышать не хочет. Когда дяденька предложил его, то Осип и Максим высказались категорически против этого, трое воздержались, и предложение дяденьки было провалено. Приехал и вступил в комитет бывший член Осипа [1], затем работавший под именем Валериана в Екатеринославе. Не помню его партийной клички—сообщу в следующем письме. Производит хорошее впечатление. А того, что вы обещали, все еще нет и нет».

Вот письмо комитета к товарищу Жозефине:

«Дорогой товарищ! Одесский комитет, узнав от тов. Землячки, что тов. Ленин исключен из партийных организаций и не будет иметь представительства на с'езде, решил передать тов. Ленину мандат Одесского комитета, а переданный Одесскому комитету мандат Николаевского комитета—передать тов. Жозефине. Таким образом, дорогой товарищ, Одесский комитет раньше переданный вам мандат и позднее снова подтвержденный [2]... теперь оповестил БКБ о том, что в виду того, что Николаевский комитет передал свой мандат

[1] Осип—Одесский комитет.
[2] Пропуск в оригинале.—*В. Д.*

тов. Жозефине, Одесский комитет берет назад свой мандат, переданный товарищу, и передает его тов. Ленину. Одесский комитет думает, что в решении этого вопроса тов. Жозефина будет вполне на стороне Одесского комитета. Дело в том, что благодаря неправильности, допущенной агентом ЦК после провала Николаевского комитета, в Николаеве сейчас существуют 2 комитета, и мандат большевистского комитета, переданный Одесскому комитету, может стать спорным и, конечно, будет очень спорным, если его передать тов. Ленину.

Отсутствие же тов. Ленина на с'езде Одесский комитет считает невозможным и поэтому решился на такой, на первый взгляд, дикий шаг в полной уверенности, что, если бы товарищ Жозефина сейчас присутствовал в коллегии комитета, то подал бы и свой голос за такое решение.

Очень просим товарища ответить нам, как он отнесся к этому.

Шлем горячий привет Твердокаменных»[1].

А вот письмо тов. Землячки — к Гроссману из Петербурга от 15/III—1905 г.:

«Копия с полученного агентурным путем письма, писанного химическими чернилами, с подписью: «Землячка», С.-Петербург от 15 марта 1905 г. к Гроссману, в Одессу, Троицкая, 18 (или 17).

Лично Осипу.

Дорогой друг. Выполните немедленно поручение орг. к-та; сделайте это вместе с Вадимом (таково желание ЦК). Кроме того, необходимо сделать след.: с'ездить в Николаев, постарайтесь, чтобы мандат от Николаевского к-та передан был т. Ленину, который исключен из партийной организации, а поэтому мандата не имеет. Займитесь этим немедленно. Сообщите о результатах нам и за границу.

Горячий привет всем друзьям...»[2]

Как же отнесся сам Ленин к кандидатуре на III с'езд? Ему очень хотелось, чтобы туда попал тов. Жозефина, т.-е. Воровский,— и он счел нужным написать об этом Одесскому комитету. Интересно, что в этом письме, как и всегда в своих статьях и письмах, Ильич подчеркивает необходимость привлечь к сотрудничеству в газете «Вперед» рабочих. Даю это письмо также полностью:

«Одесскому Комитету от Ленина.

Дорогие друзья! Я хотел бы поговорить с вами насчет делегатов на с'езд. Если вы посылаете из России, тогда мое письмо отпадает. Но я слышал, что вы думаете дать мандат одному из здешних. Если этот слух верен, я бы позволил себе посоветовать дать мандат обоим из ваших здешних кандидатов, т.-е. и Жозефине и Даниле, именно:

[1] «Пролетарская Революция», № 7, 1925 г.

[2] Переписка Южного (Одесск.) район. охран. отдел. 1905 г., № 302, т. 2, стр. 206.

одному из них с решающим голосом, а другому—с совещательным (т.-е. написать письмо с'езду, что Одесский комитет просит с'езд допустить с совещательным голосом первого—Жозефину, как члена Южного бюро, очень полезного в совещательном отношении работника, или, я говорю к примеру, второго—Данилу, как превосходно знающего периферию и замечательно энергично работавшего среди одесского пролетариата. Можно быть уверенным, что с'езд уважит подобную просьбу комитета. Пожалуйста, прочтите это письмо всем членам комитета и ответьте мне.

P. S. Принимаете ли рабочих в комитет? Это необходимо, безусловно необходимо! Почему не связываете нас непосредственно с рабочими? Ни один рабочий не пишет во «Вперед». Это скандал. Нам во что бы то ни стало нужны десятки рабочих корреспондентов. Очень просил бы и эту часть письма прочесть не только всем членам комитета, но и всем организаторам и агитаторам большинства.

Привет всем! Ваш Ленин.

Сообщите, пожалуйста, поскорее, действует ли ваша явка, если нет, дайте скорее другую. Нам пишут что...(шифр) Как у вас идут дела?» [1]

Когда Одесский комитет выбрал Ленина на с'езд, Надежда Константиновна написала о том, чтобы скорее был выслан официальный мандат:

«18/IV. Чухне.

Пришлите скорее официальный мандат с подписями Ленину, пусть пришлет также немедля (такой же) мандат и Николаев, нужен также официальный ответ от Крымского союза. Совет высказался самым решительным образом против с'езда, в № 95 «Искры» прямо дикая ругань. ЦК колеблется, неизвестно еще, чем вся эта канитель кончится. На-днях напишу. Пиши. Крепко обнимаю».

На это последовал нижеприводимый ответ Одесского комитета:

«14/IV. От Дяденьки.

Дорогой товарищ! Письмо ваше от 18/IV получено. Вот официальный мандат: «Одесский комитет на собрании 20/IV—05 г. избрал своим делегатом на 3-й партийный с'езд товарища Ленина, которому и передает свой мандат».

Члены комитета: Томич, Осип, Шур, Дяденька, Петр, Александр.

Одесский комитет РС-ДРП» [2].

[1] «Пролетарская Революция», № 7.
[2] «Пролетарская Революция», № 7.

«Потемкинские дни».

Июньские события 1905 года в Одессе занимают в истории русской революции несколько блестящих страниц, из которых, несомненно, наиболее славная принадлежит «Потемкину».

Началось с того, что на бастовавшем заводе Гена полицейские убили 2 рабочих и нескольких ранили. К вечеру идущие на Лиман поезда были остановлены, на электрической станции были перерезаны провода, и город погрузился во мрак. На следующий день по директивам партии была об'явлена всеобщая забастовка. Наиболее активные рабочие обходили фабрики и снимали рабочих; на улицах сооружались баррикады из вагонов конки и телеграфных столбов. Полицейских встречали камнями и револьверными выстрелами. Баррикады были устроены на Базарной, Мещанской, Тираспольской, Успенской и Преображенской улицах. На Мещанской, как хорошо помню, собралась большая толпа, слушавшая ораторов—большевиков и анархистов. В это время приближается взвод солдат; публика обращается в бегство. Но среди начавшейся сумятицы выскакивает Столярский в красной рубашке (тогда—анархист, теперь—член ВКП), работавший в Одессе. Он призывает публику не расходиться и защищать баррикаду. Энергичный призыв действует, и на месте остается несколько сот человек. Тогда Столярский обращается с речью к солдатам, в которой убеждает их не стрелять в народ. Сменяющий его «Роберт» (по фамилии Плотник, во время войны учился в Париже и входил в секцию большевиков) в сильной речи доказывает солдатам, что рабочие защищают правое дело. Речи производят впечатление на солдат. Офицер видит это и без выстрела отводит солдат от баррикады. Через некоторое время другая воинская часть все-таки берет баррикады, при чем солдаты убивают и ранят несколько человек.

Мелкие стычки между солдатами и восставшим народом происходят во всех частях города, конечно, с неизбежными жертвами с той и другой стороны. В некоторых частях города бросают бомбы в казаков. Под вечер распространяется слух, что в одесский порт прибыл броненосец «Потемкин», восставшие матросы которого перебили офицеров и присоединились к требованиям рабочего класса, что убили одного матроса, который сейчас лежит в порту, и что орудия броненосца направлены на помощь одесскому рабочему.

Широкое распространение получило следующее обращение революционного командира «Потемкина» к армии:

«От Командира броненосца «Князь Потемкин-Таврический».

Просим немедленно всех казаков и армию положить оружие и соединиться всем под одну крышу на борьбу за свободу; пришел последний час нашего страдания, долой самодержавие! У нас уже свобода, мы уже действуем самостоятельно, без начальства.

Начальство истреблено. Если будет сопротивление против нас, просим мирных жителей выбраться из города. По сопротивлении город будет разрушен».

Между тем десятки тысяч рабочих и работниц собрались около убитого матроса; тут же непрерывно выступали агитаторы, призывая рабочих к вооруженному восстанию против самодержавия. Не дремали и провокаторы, которых было много в толпе и которые науськивали несознательных горожан к разгрому портовых складов, где было очень много товаров. В результате—портовые рабочие, при содействии разных «бывших людей», которые обычно ютились в порту, начали разбивать склады с вином и другими товарами. Тщетно призывали ораторы-партийцы прекратить погром: их не слушали, и скоро начались дикий грабеж и пьянство.

Грандиозное впечатление произвели похороны убитого матроса, останки которого провожало все рабочее население Одессы. Похороны, как известно, закончились предательским залпом по 12 безоружным матросам, которые были отпущены с броненосца для проводов убитого товарища—под честное слово командующего войсками, что их не тронут и дадут им возможность вернуться на броненосец. По окончании похорон на пристани по ним был открыт огонь, в результате которого четверо было убито, двое ранено, а остальные арестованы.

В ответ на это предательство «Потемкин» выпустил по городу 2 снаряда. Как говорили товарищи, только энергичные выступления революционных организаций, просивших команду «Потемкина» не стрелять по мирным жителям, спасли город от дальнейшей бомбардировки.

Необходимо оговорить, что все эти события развивались и ширились независимо от влияния партии; это об'ясняется тем, что партийных сил было очень мало, раскол еще более распылил их, не было общего языка, единого руководства и плана действий. Вот как изображены события, о которых мы говорим, в № 1 нелегальной газеты «Пролетарское Дело»:

«Одесские события в потемкинские дни.

Точно молния, пронесся по городу слух об аресте и убийстве рабочих, и многие с понедельника побросали работу и звали рабочих на улицу. К вечеру на Преображенской и Базарной ул. собралась довольно внушительная толпа, устроившая революционную манифестацию. С этого момента начались события в городе. На следующее утро к 9 час. на углу Ришельевской и Греческой собралось около 100 рабочих, ожидавших листков с призывом ко всеобщей политической забастовке. Здесь же на месте решено было поделиться на отряды для того, чтобы снимать с работы еще не забастовавших рабочих. На фабрике жестяных изделий Вальтуха работы были остановлены ворвавшимся вооруженным отрядом

рабочих. В ход пошли также захваченные напильники и другие инструменты. У фабрики произошли крупные стычки, стреляли— толпа и в толпу. С обеих сторон раненых приблизительно человек десять.

В то же утро на углу Успенской и Пушкинской улиц наши организованные товарищи вместе с товарищами из «Бунда» снимали с работы рабочих типографии Диклера и «Прогресс». Снимавших было около ста человек. Вместе со снятыми они образовали довольно значительную группу и направились по Успенской к чайной Высоцкого. На углу Успенской и Канатной точно из-под земли вырос околоток. Настроение у всех было настолько повышенное, что никто не подумал о возможности появления полицейских. Увидев околотка, толпа на минуту замедлила ход, но сейчас же двинулась вперед. Блюститель порядка, бегая от дома к дому, стал созывать дворников, которые почему-то не появлялись. Толпа продолжала свое дело. Тогда околоток, схватившись за саблю, хотел преградить ею дорогу, но, побоявшись угроз, бледный, стал обходить толпу по Канатной ул., направляясь к воротам фабрики Высоцкого. Здесь он снова пытался остановить рабочих. Раздался выстрел в воздух, и околоток побежал без оглядки в полицейский участок. Рабочие предоставили околотку собирать полицейских, а сами в это время вызвали довольно быстро рабочих с фабрики. Вышедшие из фабрики 500 человек присоединились к толпе и вместе направились по Канатной ул. в типографию Левенсона. Рабочие последней быстро бросили работы и присоединились к с'емщикам. Толпа достигала 800 человек. На углу Канатной и Еврейской рабочие остановились. Предстояло итти на Новорыбную, где находится много мастерских. Прежде чем направиться в один из указанных пунктов, оратор собирается произнести речь; со стороны Троицкой появляется отряд полиции. Рабочие остановились и медленно стали подаваться назад. Полиция приблизилась и без всякого предупреждения стала стрелять. Раздались душу раздирающие крики. Толпа бросилась по Канатной и Еврейской. Со стороны Карантинного переулка появился новый отряд полиции, среди которого были и хулиганы. Об'единившись, они стали избивать всех без разбора. Толпа разбежалась. Осталась только полиция и два смертельно раненных шашками товарища.

Несколько времени спустя стрельба началась на Преображенской. Здесь полиция стреляла целый день с промежутками в два-три часа. Несмотря на это, толпы собирались каждый раз и плотными массами двигались взад и вперед. Сколько было залпов на Преображенской ул.—установить нельзя, ибо стреляли беспорядочно, так что получилась картина беспрерывной стрельбы. В этот же день стали закрываться магазины, банки и т. п. Войск пока было мало. Действовала, главным образом, полиция. Городовые мчались по улицам, размахивая в одной руке револьвером, в другой шашкой, однако, большинство выстрелов были холостые, иначе трудно себе об'яснить поразительно малое количество жертв при почти

непрерывной стрельбе А стрельба была во множестве пунктов. Масса металась с улицы на улицу, не рассеиваясь хотя более чем на 15 мин. В пяти-шести пунктах воздвигали баррикады, валили конки, возы, таскали доски, но при первых же выстрелах участники сейчас же разбегались. При постройке баррикад выдающуюся роль играли уличные дети. С поразительным бесстрашием кучка мальчуганов окружала конку, высаживала пассажиров и мгновенно валила вагон на самые рельсы. С полудня движение по некоторым линиям приостановилось. К этому времени были остановлены работы почти во всем городе и отчасти на окраинах. Остановка работы всюду сопровождалась избиением, залпами. Масса была без оружия, и где были под руками камни, они пускались в ход, не причиняя казакам особенного вреда. В течение дня раздались в различных пунктах приблизительно 10—15 выстрелов из толпы, некоторыми из них были ранены городовые, околоточные надзиратели, помощник пристава, казаки и проч.

После столкновения и споров с зубатовцами, на собрании у завода Гена было принято предложение товарища итти в город, остановить все заводы и устроить всеобщую забастовку в знак траура по убитым товарищам. Оставшиеся товарищи (1500—2000) приняли это предложение и двинулись в путь окольной дорогой, избегая столкновения с войсками, к водокачке. Толпа растянулась почти на 3—4 квартала, захватывая и увлекая за собой всех рабочих, которые попадались по дороге. Вооруженного отряда не было, не было решительно никакого оружия. Все чувствовали, что при первом натиске неприятеля вся масса обратится в бегство. Раньше всего остановили водокачку. Долгий и протяжный гудок оповестил всех, что передовой отряд остановил уже водопроводную станцию. Гудки продолжались еще с полчаса, и масса успела пока подойти к станции. Решено было итти на завод Шполянского, на котором работает около 600 человек. Но вдруг показался пассажирский поезд, и небольшая часть товарищей бросилась останавливать его. Поезд был остановлен. Нужно было видеть испуг буржуазной публики, бывшей в поезде, когда одному рабочему пришла мысль пригласить всех пассажиров присоединиться к толпе. Умоляющим голосом просили они нас не тревожить их, уверяли в своем сочувствии и т. д. Не желая терять времени, двинулись дальше. Вскоре мы очутились у завода Шполянского и остановили его. Рабочие приветствовали нас и охотно присоединились. Около завода была произнесена небольшая речь, масса достигла уже 3.000 человек. Все направились к насекальному заводу. Там мы освободили задержанных из числа с'емщиков 18 товарищей, остановили завод, перерезали телефон и направились на Слободку Романовку, к заводу Арбаса. По огромной поляне тянулись пролетарии и производили глубокое впечатление на всех встречных. Из ближних домов и улиц высыпал народ, чтобы подивиться этому оригинальному походу рабочего класса. Настроение было повышенное. Но тех, кто вел за собою эту массу, сильно угнетало отсут-

ствие какого бы то ни было оружия и организованности. К часу дня мы были уже на Слободке Романовке и двинулись по направлению к городским прачечным. Здесь наше шествие закончилось. На площади нас встретил полицейский наряд с приставом во главе. Несколько рабочих бросились на пристава, желая отнять у него шашку и револьвер. Полицейские стали стрелять, и рабочие бросились врассыпную. А, ведь, толпа достигала 3.000 человек. Впоследствии оказалось, что полицейские стреляли холостыми зарядами.

К вечеру рабочие стали стекаться из города на Пересыпь, где около железнодорожного моста и на мосту собралась внушительная толпа. Рабочие прекратили железнодорожное движение. Полиция бездействовала, не препятствуя рабочим собираться. Казаки находились неподалеку; их офицеры уверяли, что не будут больше стрелять в рабочих, а один уверял, что они послали министру телеграмму с отказом стрелять. Внизу рабочие беседуют с казаками, передают, что некоторые из них со слезами на глазах говорят о стрельбе в рабочих... Настроение приподнятое. Рабочие кучками беседуют о событиях: все говорят об оружии, обвиняя организацию в бездействии на этот счет.

Но вот появляется оратор, хорошо известный пересыпским рабочим. Рабочие окружают его. Я стоял далеко от него, до меня долетали лишь отдельные фразы: «Довольно мы терпели от царского правительства, довольно мы терпели все его преступления... Настало время, когда мы все, как один человек, должны подняться на защиту своих прав...». Толпа жадно внимает словам товарища, и когда он заканчивает свою речь нашими лозунгами, призывая всех стать под знамя социал-демократической партии,—в ответ ему раздается мощное «ура», и воздух снова оглашается теми же лозунгами.

После него говорит другой оратор. К сожалению, речь его не соответствовала ни настроению рабочих, ни задачам социал-демократии. Сущность ее сводилась к тому, что рабочие не должны выступать в данный момент, так как они еще не организованы и не имеют оружия. Речь его неоднократно прерывается рабочими.. Резкий протест вызывают слова этого оратора, когда он говорит: «Настоящая борьба в сравнении с всероссийской революцией—пустяки»... Против него выступает наш товарищ: «Товарищи, я спрашиваю вас, разве та борьба, которую мы ведем,—пустяки? Разве все те лишения, которые мы ей принесли,—пустяки?».—«Нет, нет!»—раздается в ответ. «Все, как один, должны мы восстать, все, как один, должны мы протестовать против нового преступления царского правительства. Клянитесь же трупами убитых товарищей бороться с самодержавием!».—«Клянемся!»—прерывает ответ рабочих слова оратора. Речь свою товарищ закончил призывом ко всеобщей забастовке.

После него говорили еще два оратора приблизительно на ту же тему. Лозунги: «долой самодержавие!» «да здравствует восстание!» принимались рабочими с энтузиазмом.

После речей рабочие двинулись останавливать электрическую станцию. Произошло столкновение с казаками. Раненых не было. Часам к 12 рабочие разошлись.

Пишу под свежим впечатлением только-что виденного, слышанного, пережитого. В спокойной и мирной Одесской гавани, на берегу неподвижного моря я видел другое море—море людей, бурное море негодующего, возмущенного народа. Я видел взрывы восторга, взрывы радости, которые овладевали всеми, от мала до велика, при виде восставших против векового насилия, во имя новой свободы.

Я шел с Соборной площади, полной еще следов от вчерашней бомбы, забрызганной в разных местах мостовой и белых стен собора черной полицейской кровью, и от маленького мальчика услышал, что в гавани бунтуют военные матросы.

Вот я в гавани. Река народа движется по краю мола. После города, полного войска, казаков, полиции, с зверским ожесточением избивающей направо и налево, поражает полное отсутствие охранителей тьмы. Городовых не видно даже на обычных постах, кругом почти одни портовые рабочие, и лица у всех одухотворенные, все кругом полно оживления, все говорят.

Рядом со мною—старик. Он бос, на нем отрепья, но он чувствует себя на высоте положения и старается перекричать других...

«Так помните, господа, как появятся казаки или полиция, все—в сторону; а матросы сказали, как увидят, что народ в сторону бежит, они свои меры примут. Утром, как приехали казаки за трупом, а они им: «Либо к нам переходите, либо убирайтесь, а нето стрелять будем»,—ну, те и назад, да так назад, что и оглядываться не посмели».

Старик бежит дальше передавать инструкцию матросов.

«Смотри, вон стоит броненосец на рейде».

Я смотрю на гладкую морскую поверхность. Гигант-броненосец стоит совсем близко. Видно, как от него отделяется катер.

«Они еще вчера пришли. Значит, терпенье лопнуло. Как же так можно—человека взял за ничто и убил. Что хотят делают людям, к людям—хуже, чем к собакам. Ну, как застрелил он матроса, команда и взбунтовалась. Значит, довольно терпеть, довольно, значит, начальство над нами издевалось, долой его, значит! Ну, начальство за борт. Мичмана оставили, который хороший, сами плавают, сами командуют...».

У паренька глаза блестят, и он бы еще долго и много рассказывал, но слушают уже другого:

«Аж теперь свободы добьется русский человек, он хочет, чтобы не работать ему задаром, чтобы ему свобода была, чтобы ему вера была, как человеку, и чтобы он мог правды добиться. Как же так можно. Полиция тебя ни за что бьет, а ты молчи, полиции вера есть, а тебе нет, а жаловаться некому».

Но и его тоже не слушают. Это с полуслова всем так понятно, все так глубоко это чувствуют, горечи и обиды столько накипело,

что много говорить об этом не приходится. И слушатели, и рассказчики, и все море голов уже машут шапками, кругом слышно громкое «ура», такое же «ура» несется с медленно проходящего мимо нас угольного парохода; на нем масса людей, его ведет к броненосцу на буксире миноносец. Мальчишка лет 13-ти привлекает теперь к себе внимание. Он был на угольном пароходе:

«Они прямо подошли и пароход забрали, говорят: «Мы даром не хотим, за весь уголь заплатим. У нас деньги есть». А народ пригласили поехать уголь выгружать. Все вызвались, людей полный пароход...».

«Вон, товарищи, палатка. Там он, убитый матрос...».

Звонкий женский голос пронесся, полный глубокого чувства. Барышня среди босяков, как товарищ. Они были родные и близкие.

Перед нами—палатка. Это—скрепление из нескольких столбов, покрытое брезентом. Вокруг—море людей.

Я в палатке. На носилках лежит убитый. Молодое лицо сохранило впечатление страданий и является символом мученичества от произвола и насилия, всем понятным, всех возмущавшим до глубины души; военный флаг прикрывает его до груди, на груди лежит лист бумаги с надписью: «Товарищи, смотрите, пред вами труп зверски убитого матроса Григория Вакулинчука. Он убит старшим офицером эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический» за то, что сказал, что борщ нехороший. Мир праху твоему. Осеним себя крестным знамением и поклянемся свергнуть насильников и добиться свободы. Да здравствует свобода!

Команда эскадренного броненосца «Князь Потемкин-Таврический».

Это читает вслух один из пришедших по просьбе неграмотных. В его голосе дрожат рыдания, все без шапок, на многих ресницах видны слезы. Около убитого горят восковые свечи, а подле него стоят два матроса. Они не вооружены и охраняют товарища только силой сознания, что свои не дадут в обиду.

Я вышел из палатки—и вот я на самом краю пристани. Отделившийся от броненосца катер с поразительной быстротой подходит к берегу, все машут шапками и кричат «ура». На катере дают знак, что хотят говорить. Воцаряется молчание.

«Товарищи, передайте, чтобы нам все помогали. Теперь нам нужно приготовить пресную воду. За провиант мы будем платить. У нас около 170 тысяч. Мы никого не боимся, и вы никого не бойтесь. У нас пушки, ружья, ручные гранаты—все. Будьте за нас, а мы за вас».

Катер отчаливает. Кругом кричат «ура» и машут шапками. Крайний матрос кричит: «Мы за рабочих!».

Оживление толпы не поддается описанию. С удалявшегося катера слышны голоса матросов: «Мы за свободу».

Торжественную картину представляли похороны убитого на броненосце матроса Григория Вакулинчика. Произошли они совершенно неожиданно как для организации, так и для населения. После об'явления города на военном положении, после расстрела

в порту и на улице, никто не предполагал, что администрация допустит похоронное шествие через весь город. Но, видно, слишком велика была боязнь администрации перед грозным пришельцем, так дрожали они при мысли о бомбардировке города и дезорганизации войск, что... согласились на эту опасную игру.

Матросы требовали, чтобы допущены были к похоронам 100 матросов с винтовками. Администрация согласилась, предварительно гарантировав неприкосновенность личности матросов, лишь на то, чтобы тело сопровождало не более 12 человек без оружия. По условию, матросы должны были вернуться не позже 7—8 ч. вечера. Я столкнулся с похоронной процессией в 5 час. дня на углу Преображенской и Почтовой ул. За катафалком шли 12 матросов, за ними шествовала толпа в 500—600 рабочих с певчими и священником. Шествие производило глубокое впечатление. За процессией не следовало никакой стражи, но вдоль почти всей Преображенской ул., от порта до Успенской церкви, выстроились в ряды с обеих сторон войска. При прохождении процессии солдаты отдавали честь, снимали шапки и крестились. Возле Успенской церкви священник остановился служить литургию[1]. Как только катафалк двинулся, спешившаяся рота солдат под командой пристава... врезалась в процессию и отрезала всю толпу от трупа. В тот же момент рота повернулась лицом к толпе, дала по приказу пристава без всякого предупреждения залп. Трудно описать тот безумный ужас, который овладел мирной толпой. Вмиг не осталось ни одного человека на месте. Залп был холостой и не причинил никому вреда.

Так как я шел рядом с матросами, то очутился в числе 20—25 человек, оставшихся еще у гроба. Катафалк остановился. Трое матросов отделились и направились к приставу, но он, как зверь, заревел: «Идите, идите вперед, а то буду стрелять!». Матросы, постояв с минуту, двинулись вперед. Немедленно с боковых улиц стали стекаться все новые и новые толпы. Мы шли беспрепятственно до Чумной горы, но здесь уже, вместо прежних 500 человек, было 300 чел. Подойдя к водопроводной станции, мы вновь увидели две роты солдат.

Едва толпа миновала переулок, как стоявшая там рота с ружьями на-перевес быстрым шагом выстроилась во всю ширину дороги.

Немедленно трое из нас подошли к офицеру для переговоров. Он нас успокоил, и процессия двинулась вперед и минут через 10 достигла кладбища.

Здесь толпа навзрыд зарыдала. Самые сильные, закаленные нервы не могли бы выдержать.

Два оратора в сильных речах указывали на значение пережитых дней, призывали к борьбе,—к борьбе до победоносного конца...

Могилу засыпали. Грустное, тяжелое настроение сменилось совершенно бодрым, таким, с каким идут люди, готовые умереть

[1] Лития?—*Ред.*

в борьбе. Бодрые, настойчивые возгласы «Долой самодержавие!», подхваченные всей толпой, звали к новой, лучшей жизни.

Обратная дорога с кладбища в город на извозчиках была сплошной овацией для матросов. Тысячные толпы приветствовали их по всему пути.

Было уже $7^1/_2$ часов, и товарищи их на броненосце беспокоились за их участь. Как уже было сказано, матросам была гарантирована неприкосновенность личности. Но едва они доехали до пристани, как какой-то полицейский приказал дать по ним залп,— четверо убитых, двое раненых, остальные арестованы... В ответ на это через несколько минут с броненосца раздались один за другим два залпа по городу...».

Использование легальных возможностей.

После «потемкинских дней» последовали массовые аресты; многим товарищам пришлось бежать, ряд крупных работников уехал из Одессы. Секретарем Одесского комитета стал товарищ Гусев.

Только-что разыгравшиеся события и выявившийся в процессе их партийный раскол породили в рабочей среде определенное желание об'единения организаций меньшевиков и большевиков. Об'ясняется это тем, что рабочие неясно представляли себе разногласия тех и других и были сбиты с толку выступлениями таких видных приезжих агитаторов, как «Лева» (Владимиров), который везде и всюду выступал за единство. В данный момент мне ясно, что эта позиция была неправильная, что нельзя было замазать соглашательством те глубокие основные разногласия, которые были между большевиками и меньшевиками, но тогда я вместе с другими работниками тоже голосовал за об'единение.

Из местных работников, которые пользовались авторитетом, выступали Александр Кацап и Роберт. Особенно памятны мне их выступления на собрании в университете.

Одесский комитет понимал, что в данный момент, имея перед собой массу членов партии, которые стояли за единство, он не может выступить против, и потому очень осторожно выступал за об'единение на определенных условиях.

В меньшевистской организации члены партии также высказывались за об'единение. В конце-концов это об'единение состоялось после сентябрьских событий, когда и стали выпускаться прокламации за подписью Одесского об'единенного комитета РС-ДРП.

В июле месяце Одесская меньшевистская группа в одном из писем к Киевскому комитету сообщала, насколько здесь назрело об'единение под давлением рабочих; приводим выдержки из этого письма:

«Киевскому комитету от Одесской группы РС-ДРП.

Одесская группа доводит до сведения Киевского комитета, что здесь за последнее время, главным образом среди рабочих Одесского комитета большинства, возникло движение, принявшее

серьезные размеры, в пользу немедленного об'единения на местах двух фракций. Некоторая часть организованных рабочих нашей организации присоединилась к этому движению, и на почве этого движения произошло несколько собраний и стала складываться «подпольная» организация. Ею была принята следующая резолюция: «В этот важный исторический момент, который мы переживаем теперь, работа социал-демократической партии окончательно дезорганизована существ. в ней расколом, конкуренцией 2 партий. Не говоря уже о значительной части сил, отвлекаемых на эту конкуренцию, успешность дела страдает от отсутствия об'единения лучших партийных работников для выработки общих планов и общей тактики. Масса сил тратится непроизводительно, например, когда обе партии направляют свое внимание на один и тот же завод, стараясь привлечь его в свою организацию. Между тем мы находим, что расхождение членов партии по некоторым вопросам не может служить поводом к расколу организации, так как в живой партии с.-д., растущей, откликающейся на всю сложность выдвигаемых историей задач, нельзя и предположить одинакового мнения всех ее членов, что совместное существование в партии различных течений служит доказательством ее жизненности и способствует ее идейному расширению и углублению и что было бы губительно для развития партии желание стричь всех под одну гребенку».

По сведениям, имеющимся в нашем распоряжении, Одес. ком. исключил из своей организации товарищ.-рабочих, стоявших на точке зрения этой резолюции, что послужило причиной недоверия к организации и заставило рабочих «конспирировать» и от нас возникшие среди них течения. Наш ком., по получении сведений об этом движении, заявил, что он приветствует возникающ. движение и только сожалеет, что товарищи совершенно открыто не заявили о своем мнении. В настоящее время в нашей организации этот вопрос поставлен на обсуждение по всем группам, а так как мы стоим за необходимость об'единения, то мы поставили себе задачей взять руководство этим движением в свои руки, вводя это в партийные рамки. Но как нам стало известно, несколько товарищей (кажется, 5—6 чел.) решили отправиться в другой город с целью повести такую же агитацию. Принимая во внимание, что такая деятельность может дезорганизовать наши организации, если она не будет вестись в рамках партийной работы, что раз'езды по городам ничем не вызваны, так как ни одна из меньшевистских организаций не ставила никаких препятствий своим членам свободно высказ. по вопрос. об'единен. и осведомлять всю партию о своем мнении, Одесская группа категорически высказывается против подобн. деятельности этих товарищей».

Как большевики, так и меньшевики для своей работы в Одессе использовали все легальные возможности; но последние больше всего были использованы определенными прохвостами, которые издавали книжонки видных руководителей II Интернационала

в очень плохих переводах, зная, что масса будет покупать их. И они не ошиблись: издательство «Буревестник», во главе которого стоял подозрительный коммерсант, выпускало десятки книг, и все они расходились, давая ловкому издателю массу денег. Одесский комитет также организовал издательство, под названием «Вперед», которое, нужно сказать, к сожалению, очень мало выпускало книг, что об'ясняется, между прочим, тем, что комитет хотел поставить это дело хорошо. В связи с этим т. Гусев 25 июля 1905 г. обратился к т. Ленину с просьбой помочь издательству. Из письма т. Гусева видно, как мало было тогда в распоряжении комитета людей и как хромала партийная работа в Одессе. Это письмо, насколько мне известно, еще не появлялось в печати, и потому привожу его полностью:

«Копия с полученного агентурным путем письма, писанного химическими чернилами, без подписи. Одесса от 25 июля 1905 года к г. Мюрригер, Мюнхен, Таль 50, III.

Личное для Ленина.

От Нации.

Дорогой Владимир Ильич. Обращаюсь к вам по следующему частному делу: здесь в Одессе есть издательство «Буревестник». Издатель—суб'ект, почти никакого отношения к партии не имеющий. Желательно, чтобы с ним не входили ни в какие сношения. Одесский комитет основал свое собственное издательство «Вперед» (все доходы в пользу партии). Необходимо, чтобы ему было передано исключительное право переиздания изданий Куклина, а особенно издания «Женщины и социализм». Если Куклин согласен, то пусть немедленно телеграфирует по адресу: Одесса, книжный магазин «Образование»—«согласны на издание. Кук». Думаю, что отказа не может быть. А затем желательна присылка официального документа, которым исключительное право издания «Классовые интересы», ««Коллективизм», «Женщины и социализм» передается одесскому издательству «Вперед». Сообщите Одесскому комитету, в каких отношениях к партии состоит издательство «Рассвет».

Не можете ли при оказии прислать для перевода и издания немецкие, французские и итальянские брошюры, с указанием, какие истинно желательны. Желательна присылка «Критики Готской программы».

Здесь дела плохи, организация плоха, людей мало, денег ни сантима. Меньшевики тоже слабы. В Херсоне б-ская организация, но слаба, недостаток людей, недавно был провал. По всему югу чувствуется недостаток организаторов и опытных пропагандистов. В Ростове м-ки невообразимо слабы, а между тем, достаточно двух людей энергичных, чтобы взять дело в свои руки. В Таганроге организация сама переходит на сторону б-ства. Туда уже поехал товарищ, и, вероятно, организация будет нашей. Три—четыре энергичных человека в К. могли бы взять Одессу в свои руки. В общем картина безотрадная.

Адрес для посылки «Пролетария»: уг. Екатерининской и Троицкой, склад оконных и зеркальных стекол И. И. Хазановского».

Меньшевики, со своей стороны организовали издательство под фирмою некоего Алексеева. Из приводимого ниже письма «А. Нов.»—к Дымке Розову от 5 июля 1905 г. видно, как издавались тогда книги, как приходилось приспособляться к цензуре, меняя названия книг, раньше не пропущенных цензурой. Меньшевистское издательство выпустило гораздо больше книг, очевидно, имея больше материальных средств и интеллигентных сил.

«Копия с полученного агентурным путем письма за подписью «А. Нов.», Одесса, от 5 июля 1905 г. к Дымке Розову в Киев, Подвальный пер., № 4.

Насчет губительного действия пулеметов у вас в Киеве существует совершенно превратное понятие. Из меньшинства не пострадал никто, за исключением отдельных личностей. В большинстве был небольшой провал. Зато с.-р., действительно, понесли колоссальный урон по собственной же глупости. Их же собственный товарищ оказался губительнее всякого пулемета. Везя на себе пук прокламаций, он, как всякий истинный с.-р., имел при себе оружие, т.-е. револьвер, который в присутствии чинов полиции был им по неосторожности обронен на улице. При обыске в его кармане оказалась записная книжка с указанием его подробного адреса. Отправившись по оному, полиция накрыла там собрание комитета. Дальше, конечно, все пошло, как по маслу.

У вас, я думаю, уже обращено должное внимание на новое наше одесское книгоиздательство под фирмою «Е. М. Алексеев». К сожалению, все заглавия составлены наново, почему книгу иной раз узнать трудно. Так, «Манифест» называется «Буржуазия, пролетариат и коммунизм». Заключительное воззвание также, конечно, выпущено. Очевидно, цензор еще не привык к нему. Книга Энгельса «Фейербах» получила прозвище «От классического идеализма к диалектическому материализму». От Георгия Валентиновича П. уже получено разрешение выпустить его предисловие к «Манифесту». Заглавие придумывается» [1].

Как только у Одесского комитета появились силы, он обратил серьезное внимание на Пересыпь, Дальник и железнодорожников. «Отчет», который мы нашли в Одесском истпарте, писанный в августе месяце (28-го), дает полную картину той работы, которая была проделана большевистским комитетом. В отчете есть шифрованные слова, из чего видно, что охранке не удалось их расшифровать. В виду того, что отчет шел через тов. Гусева, возможно, что эта шифровка будет раскрыта. Даем этот отчет полностью.

«Копия с письма без подписи, Одесса, 28 августа 1905 года, к г. Мюрригеру, Мюнхен, Галь 50. III.

[1] Дело Одесского охранного отделения «Неисполненные бумаги», № 302, т. I—1905 года.

«Отчет

ответственного организатора Вокзала, Фонтана и Дальника.

Отчет через нацию № 2 о соц.-дем. работе я могу дать с последних чисел апреля и до 2 июня. Затем с 1-го июля и по настоящий день. Отчет этот не может быть полным и подробным, так как все записи были уничтожены во время ареста секретаря района. Дальницкий район делится на 3 подрайона: Дальник, Вокзал и Фонтан. Всей работой руководит районный центр. Первое время состав его был довольно неудовлетворителен. В нем было 7 рабочих-централистов, 2 подорганизатора и организатор. Собирался он по 2-е июня 6 раз. Затем на Дальнике и Вокзале были два центральных кружка. Дальницкий кружок руководил работой на 10 заводах: Гена, цементный, маслобойный, кожевенный, сахарный, Мюллер, пробочный, сцепщики, стрелочники и телеграфисты. Вообще охватывал ж.-д. мастерские и депо. На Фонтане у нас только завязались связи. Заводские центры, кроме Вокзала, были у Гена, на цементном, маслобойном, у сцепщиков и телеграфистов, называются эти центры группами. Была еще смешанная группа, в которую входили заводы: Нотович, Кац, Келлер, каменщики и слесарная мастерская. На остальных заводах у нас были связи. Они были в общей сложности на 22 заводах. На сахарном заводе, на джутовой фабрике и на Фонтане организовались группы. Первое время особенно много усилий пришлось употребить на борьбу с неорганизованностью, которая проникала все сверху донизу. Пропаганды на летучках и в кружках велись без всякого плана и руководства. Каждый из них говорил, что бог на душу положит. Один говорил о возникновении и развитии крепостного права, другой—о первобытном коммунизме, третий—о национализме. От этого рабочие получали не знания, а какие-то обрезки знаний, им излагалось не стройное мировоззрение, а какая-то каша. Пропагандисты района видели корень зла в ответственном руководителе 2/7 4/3 2/9 1/2 6/3 2/5 12/4 1/6 6/13 2/28 49/1 8/5 7/10 2/4 1/3 и неоднократно требовали, чтобы я заявил от имени района в комитет, чтобы 2/7 7/3 2/9 1/2 6/3 2/5 1/2 убрали. Не имея в руках фактов и не зная товар 2/7 7/3 2/9 1/2 6/3 2/5 1/2, я не обратил внимания на их заявление, и их голос долго оставался «гласом вопиющего в пустыне». Агитация велась также без всякого руководства, не была централизована. Районные агитаторские группы долго не были организованы. Во время забастовки, когда была страшная нужда в агитаторах, ответственного агитатора 7/2 3/3 6/4 3/9 6/7 5/3 нельзя было найти.

Распространение листков и литературы тоже не было организовано. Только в последнее время, незадолго до провала, была организована техническая группа.

До этого централисты, котор. приходится вести агитацию, заводить новые связи, организовывать летучки, массовки и кружки,

сами ходили за литературой, носили ее к себе, хранили ее в своих квартирах и сами распространяли. Пропаганду поставить мало-мальски удовлетворительно так и не удалось, так как ответственным пропагандистом до последнего времени был тот же 2/7 4/3 2/9 1/2 6/3 2/5. Дело с агитацией пока удалось несколько сдвинуть. Была организована агитаторская районная группа. Затем для распространения листков была устроена техническая группа. Кроме того, мне было поручено сделать все возможное для создания политических клубов. Эти последние не могли осуществиться за неимением квартир. В самом начале, т.-е. в апреле и мае, пришлось посвятить все время и на самооборону, тогда можно было ожидать еврейского погрома. Самооборона была организована довольно плохо и могла иметь лишь агитационное значение. Затем с первых чисел мая началась забастовка, продолжавшаяся $1^1/_2$ мес. Подробный отчет о ней можно иметь в бюллетенях, переданных в К. В это время главное внимание было обращено на агитацию, на использование стачки, на завязывание связей. На практические занятия в центральных кружках и в заводских группах и на пропаганду не было времени. Явочные квартиры района функционировали в это время каждый день,—оттуда рассылались агитаторы, туда сходились все сведения и там писались бюллетени и составлялись листки. Листков в это время район выпустил 8—10. Во время стачки нам во всем районе нигде, за исключением Вокзала и Вальтуха, не пришлось столкнуться с меньшевиками. Их не было там видно,—везде стачкой руководили мы. На Вокзале наши дела в это время тоже очень поправились. Работа шла. Центральный кружок собирался для правильных занятий 6 раз. 3 вокзальных группы собирались 3 раза. 3 кружка пропаганды собирались 12 раз. Массовок было 6. На первую явилось 9 чел., на вторую—18, на 3—20, на IV—26, V—30, VI—35. На Дальнике наши ораторы говорили у заводов, в трактирах и за городом, в саду на Балковской ул. Два митинга были в 200 человек. Связи со сценщиками, телеграфистами и ж.-дор. мы не могли использовать,—у К. не было на это ни сил, ни средств. Дискуссии не могли устроить за неимением квартиры, а также из-за нежелания меньшевиков. Последние в борьбе с нами попрежнему прибегали к демагогическим средствам. В то время велись переговоры о соединении на время стачки с отколовшейся группой и Бундом; район высказался категорически против всяких об'единений в виду того, что в тех заводах, где происходили стачки, у меньшевиков не было никаких связей. Вообще, во время стачки работа у нас хорошо налаживалась. Большим препятствием являлся недостаток денег и квартир. В середине мая К-т неожиданно для себя, вследствие того, что финансовая часть не была организована, оказался буквально без гроша денег. Это заставило многих централистов и групповиков уехать из Одессы или поступить на работу в другой части города и фактически уйти из организации. Второй страшный урон был нанесен во время моей болезни 2 июня. Тогда была аресто-

вана вся дальницкая организация. Взяты были все ораторы, централисты, организаторы и пропагандисты. На сносной квартире было арестовано 4.000 листков. Через несколько дней провалилась у К. техника. Это еще более ухудшило положение дела. Я был болен. К. послал двух товарищей, но без централистов они ничего не могли сделать. Вследствие этого целый месяц работа на Дальнике не велась. Арест всей дальницкой организации 2 июня, военное положение, аресты и высылки, отсутствие денег, квартир, техники,—все это отразилось самым пагубным образом на работе. Организация, созданная с таким трудом, была уничтожена. Приходилось создавать новую—начинать неблагодарную кустарническую работу. Это было чрезвычайно трудно. Военное положение нагнало страшную панику. Все лучшие централисты отказывались работать и собирались уезжать. Те, которые хотели работать, не могли собираться за отсутствием квартир. Приходилось встречаться и сталкиваться с отдельными лицами на улице. Только к концу июня удалось собрать районное собрание. На Вокзале сорганизовано 3 кружка, но они по тем же причинам, о которых я говорил выше, или собираются не в полном составе, или очень нерегулярно. На Дальнике восстановили связи с цементным заводом, у Гена, на маслобойном, у Мюллера, на пробочном, у Беллера, Вальтуха, у телеграфистов, на кожевенном, сахарном, джутовой фабрике. Все листки ЦК, брошюры, местный листок,—все это распространено. Но технической группы нет сейчас,—ее создать трудно. Группы агитаторов, политический клуб можно будет создать только в будущем. Летучки устраиваются у Вальтуха, Беллера, Энгеля, Мюллера. Имеется пропагандистский кружок на цементном заводе. Скоро будет на маслобойном и кожевенном. Районное собрание собиралось 2 раза. Один раз разбиралось положение дел. Собрание отнеслось с осуждением к нерешительной, ошибочной тактике об'единенного комитета, во время пребывания броненосца «Потемкин». На втором собрании обсуждалась резолюция III с'езда. Собрание вынесло резолюцию, признающую III с'езд партийным, выразившую солидарность с его решениями и надежду на присоединение отколовшейся части партии, в виду того, что с'ездом сделано все возможное для об'единения. Денежные взносы прививаются страшно трудно. Об'ясняется это тем, что рабочие во время стачки очень задолжали и обеднели. Что касается до вооружения, то это здесь возможно лишь среди самых передовых и преданных товарищей. В общем, хотя медленно, но работа опять налаживается. Во всем районе как ни плохи дела, но они все-таки лучше, чем у меньшевиков. У них связей больше разве только у Вальтуха, имеются связи на Вокзале, но меньше, чем у нас. На котельных заводах их связи замечаются. Можно с уверенностью сказать, что если бы у нас были деньги, можно было бы их всюду вытеснить. У них нет и, конечно, не может быть сознательных рабочих. Имеются еще неразобравшиеся в партийных неурядицах молодые рабочие, сбиваемые

с толку демагогическими приемами. Единственно, в чем перещеголяли нас меньшевики, это—частые выпуски листков. Последние выходят у них еженедельно. Наш К. собирается издавать местный орган, но отсутствие денег не дает возможности осуществить это. Меньшевики с 1-го сентября выпускают местную газету под названием «Пролетарское Дело». В последнее время для передовых рабочих у нас было прочитано два реферата: 1) об организационных несогласиях с меньшевиками, 2) о тактических несогласиях. Читал тов. С. И. Рефераты эти принесли большую пользу. Товарищ читал очень хорошо. Многое раз'яснилось, так что централисты чувствовали себя лучше вооруженными в борьбе и очень довольны рефератом. Желательно их почаще устраивать» [1].

Отчет этот дает полную картину работы в одном из лучших районов города. Хуже, конечно, шла работа в Городском районе, и нужно сказать, что все лучшие силы бросались, главным образом, в университет. В сентябре месяце там происходили с утра до позднего вечера собрания рабочих, студентов, дискуссии, там выступали анархисты, эс-еры, меньшевики и бундовцы. Большевикам приходилось выступать против всех, раз'ясняя свою позицию. Вот почему районы в то время страдали от отсутствия работников,—некому было заниматься в кружках, и практическая работа почти не велась.

Одесский совет рабочих депутатов не играл той политической роли, какую играл Питерский совет. К постановлениям Питерского совета прислушивались рабочие массы и революционные организации; Одесский совет успел выпустить всего лишь 3—4 номера газеты, которые захватным порядком удалось отпечатать в типографии «Одесских Новостей» и в других типографиях. Председателем совета был известный тогда меньшевик—грузин Шавди, пользовавшийся популярностью, главным образом, потому, что почти на всех студенческих собраниях он председательствовал и довольно недурно говорил.

Нужно сказать, что Одесский комитет мало обращал внимания на работу Одесского совета. До издания манифеста все его внимание было устремлено на широкие собрания рабочих, на организацию уличных демонстраций. Обнародование манифеста 17 октября было отмечено организованной комитетом внушительной демонстрацией на Дерибасовской улице, где проживала одна только буржуазия; рабочие же там не жили никогда и редко даже проходили по ней. Был выброшен красный флаг, и с пением революционных песен демонстранты двинулись к университету. Вдруг налетели казаки, и началось дикое избиение. Демонстранты не были вооружены, но все-таки не хотели бежать и принялись, в целях самообороны, опрокидывать трамвайные вагоны и разбирать мостовые. В казаков полетели камни. Конечно, в конце-концов победили казаки.

[1] Дело Одесского охранного отделения „Неисполненные бумаги". № 302, т. 1—1925 года.

На других улицах толпилась масса народа, особенно—в рабочих районах, где устраивались уличные собрания. Полиция держала себя вызывающе, без предупреждения стреляла в рабочих. Когда появились убитые и раненые, рабочие напали на американский оружейный магазин, захватили там несколько сот револьверов, охотничьи ружья, ножи и быстро начали вооружаться. Инициатива призыва к вооружению принадлежала Одесскому комитету. Ни одна организация, кроме комитета, не выставила лозунга с призывом вооружаться.

Погром и революционные организации.

После обнародования манифеста в городе начались демонстрации с красными знаменами. В этих демонстрациях принимала участие и буржуазия; на домах буржуазных улиц—Пушкинской, Дерибасовской и Маразливской—можно было видеть на балконах красные флаги, можно было наблюдать картину целующихся и приветствующих друг друга «со свободой» представителей буржуазии. В этот момент «празднования свободы» одни лишь большевистские ораторы раз'ясня и рабочим, что манифест—клочок бумаги, что царское правительство не замедлит отказаться от своих обещаний и обманет народ, что оно хочет этим манифестом только отвлечь рабочих от революционной борьбы и что только вооруженной рукой можно завоевать свободу, повалить самодержавие и добиться созыва учредительного собрания.

По правде сказать, не только меня,—молодого рабочего,—но и других эти речи заставляли задумываться: мы не могли понять, почему представители других социалистических организаций не говорят таким языком, хотя идейные анархисты в этом вопросе поддерживали большевиков. Но скоро, очень скоро тем, которые поверили царскому манифесту, пришлось убедиться, насколько были правы большевистские ораторы. На следующий день на Молдаванке начался еврейский погром. В это время в университете происходили митинги и собрания. По получении известия о погроме, быстро стали организовываться студенческие боевые дружины совместно с рабочими. Дружинникам выдавалось оружие, главным образом, револьверы системы «Бульдог», «Смит и Вессон», редко—браунинги; другим выдавались железные палки и наручники.

Имея револьвер Смита-Вессона, я примкнул к одной из вооруженных групп и вместе с нею принимал участие в защите избиваемых евреев. Помню, на Прохоровской улице мы наткнулись на банды хулиганов, которые ловили проходивших евреев, тут же на улице раздевали их и затем убивали. Мы дали залп в воздух. Хулиганы моментально разбежались в разные стороны, но на смену им или, лучше сказать, в подкрепление точно из-под земли выросла воинская часть и открыла по нас огонь из винтовок. Несколько наших товарищей было убито и ранено, и нам пришлось

ретироваться. Как потом оказалось, хулиганов везде поддерживали солдаты и казаки. Между штатскими погромщиками были переодетые полицейские.

Погром и убийства продолжались несколько дней. Самооборона не могла активно воспрепятствовать этой бойне, благодаря защите погромщиков со стороны полиции. Когда же нам и удавалось изловить хулиганов и даже переодетых полицейских, шедших с награбленными вещами в окровавленных руках, нас не допускали их убивать, говоря, что нельзя отвечать убийством за убийство, и в конечном счете мы отводили арестованных в университет, где их кормили хорошо и... только. Конечно, это было наивно, глупо, но в то время, как видно, и мы, революционеры, были романтиками.

Мне, в качестве руководителя отрядом на Мещанской, Базарной и Трехугольной улицах, пришлось несколько суток не спать. Нужно сказать, что нам повезло: на Трехугольной и Базарной улицах стояла воинская часть, офицер которой не допускал погромщиков на эти улицы и однажды даже открыл огонь по казакам, когда они защищали хулиганов. К сожалению, фамилии этого офицера я не помню, но я помню хорошо, что во время переговоров с ним он заявил, что пока он жив, на этих улицах погрома не будет. Видимо, он определенно сочувствовал революционерам. Но такие случаи бывали очень редки.

От погрома пострадала, главным образом, еврейская беднота. За время погрома было убито свыше 500 человек, не считая тяжело и легко раненных. На кладбище можно было видеть трупы беременных женщин с распоротыми животами, убитых детей.

Сильные отряды самообороны были организованы железнодорожниками и пересыпскими рабочими, и там, где войска не вмешивались, самообороне удавалось не допускать погрома. Очень много пало в те дни наших товарищей и студентов, и нужно сказать— бессмысленно, потому что погром был организован военными властями, громил поддерживали вооруженные до зубов солдаты, против которых ничего нельзя было сделать с револьвером или палкой. Погром прекратился только тогда, когда самой администрации это было нужно. Необходимо добавить, что еврейская буржуазия совсем не пострадала от погрома — ее охраняли полицейские или воинские части, надо полагать,—за определенную денежную мзду. Только магазины грабили, не разбирая, еврейский он или русский.

Секретное донесение жандармскому управлению, которое я даю полностью, гласит, что беспорядки возникли благодаря евреям, что погром произошел только потому, что русские были «возмущены» поведением евреев; это был постоянный метод царских опричников—во всех беспорядках обвинять евреев, студентов и вообще интеллигенцию.

«В дополнение к донесениям моим ранее, а также телеграмме последних дней доношу,—говорится в этом документе,—что на устраивавшихся с 17-го сентября в здании университета так-

называвшихся общестуденческих сходках, являвшихся не чем иным, как народными собраниями, учащимися, преимущественно евреями, и лицами обоего пола и рабочими вырабатывалась программа всеобщей забастовки заводов и фабричных заведений для устройства громадной уличной вооруженной демонстрации. К участию в демонстрации, повидимому, предполагалось привлечь и учащихся всех средне-учебных заведений.

В чем должен был выразиться результат этой демонстрации— неизвестно, так как обстоятельства изменились.

Многолюдные сходки в университете происходили ежедневно. 15 окт., часов в 10 утра, толпы студентов переходили от одного учебного заведения к другому и, разбивая окна и двери, угрозами вынуждали учеников и учениц выходить из учебн. заведений на улицу.

Затем часть учащихся—преимущественно малолетние—уходили домой, другие присоединялись к пришедшим и вместе направлялись к след. учебн. завед., увеличивая, таким образом, толпу и усиливая беспорядок. Полиция разгоняла эти толпы, откуда бросали камни. Толпа, разбегаясь, падала, топтала друг друга, а потому и, быть-может, и от ударов полицейских явились пострадавшие. К вечеру по городу разнесся слух, что полиция избивала детей; даже находились такие, которые заявляли попечителю округа,— который говорил мне,—что лично видели целый госпиталь в женской гимназии Березиной, где будто бы много трупов (по проверке попечителем, ни одного трупа не было).

В этот же день было заседание в думе, где дебатировался вопрос, как выразить протест градоначальнику за допущение избиения детей полицией. На заседании присутствовал совет профессоров. Во время заседания были слышны возгласы «Долой Нейдгарта, смерть ему!».

В этот же день градоначальник в совещании с попечителем округа решил на след. день не допустить постороннюю публику на сходку в университет. 16 октября, когда с утра поставленной полицией и казаками эта публика возвращалась, то, разойдясь по центральным улицам, она стала останавливать конки и переворачивать их, устраивала на улицах баррикады, складывая в то же время бревна, телеграфные столбы (только-что вырытые, вследствие замены воздушного телефона подземным), строительный материал, срубая деревья, вырывая камни мостовой и протягивая проволоку и канаты через улицу. Казаки и пехотные части разгоняли устроителей баррикад, но чуть войска удалялись, демонстранты возвращались продолжать работу. К вечеру баррикады были разрушены, и порядок в этом отношении был восстановлен. Во время появления войск в местах сборищ, в них производились из толпы выстрелы, на которые войска отвечали залпами; были жертвы со стороны демонстрантов, которые были исключительно евреи и преимущественно учащиеся. Со стороны войск потерь было очень мало. Ранен не смертельно рядовой Одесской конно-жандармской

команды Трофим Демиденко пулей в бок на вылет; ранившая его и убегавшая еврейка настигнута городовым, который нанес ей шашкой порез плеча.

Все банки и весьма многие торговые заведения закрылись. Убитых среди войск нет; ранено чинов полиции и войск около 7 чел., среди толпы убитых и раненых около 60 чел.

С утра 17 окт. и почти целый день было на улицах тихо; бродили незначительные толпы евреев, рабочие, которые закрывали мелкие мастерские. Толпы эти мало разгонялись, и было уже заметно, что войска и полиции мало, чтобы дробить его для посылок во многие места. Сравнительное затишье предвещало, что происходят совещания для дальнейшего образа действий; получались сведения, что к демонстрантам присоединятся на след. день фабричные остальных фабрик и заводов. У арестованных накануне 224 чел. оказалось только 2 револьвера, но разграбленный американский оружейный магазин дал демонстрантам 200 револьверов, 60 охотничьих ружей, 300 ножей, 14 железных палок с набалдашниками. Газеты не вышли, выпустив след. об'явление: «Редакции «Одесского Листка», «Одесских Новостей», «Южного Обозрения», «Коммерческой России» и «Южных Записок», при существующих условиях не находя возможности правдиво осветить происходящие ныне в России и Одессе события чрезвычайной важности, решили согласно со всей передовой Россией временно приостановить выход своих изданий; редакции оставляют за собой право подробно осветить события с своей точки зрения».

В действительности же причина приостановки выхода газет заключалась в том, что вследствие прекращения ж.-д. движения и прекращения выпуска газет в др. городах,—одесские газеты должны были бы выходить чистыми листами, так как в них почти исключительно помещались статьи и сенсационные выдержки из других газет.

18 числа ранним утром стали собираться толпы евреев, в некоторых местах были опрокинуты конки, но к 10 часам утра, ко времени об'явления высочайшего манифеста, толпы эти значительно увеличились, среди них появились красные и черные с белым флаги, с которыми эти толпы стали ходить по улицам, крича «ура», устанавливая у домов и решеток скверов траурные флаги. На местах, где были убитые 16 окт., толпы эти останавливались, обнажали головы, а ораторы произносили речи революционного содержания, доказывая толпе необходимость пред'явления правительству требований для достижения большей свободы. Толпы эти, почти исключительно учащаяся молодежь-евреи, при встречах с войсковыми частями кричали «ура», не делая никаких насилий; при появлении же казаков, которые их разгоняли, моментально разбегались по дворам, а по проезде казаков вновь соединялись и продолжали шествовать.

Ректор университета Занчевский обратился к прокурорскому надзору от имени толпы с просьбой освободить политических пре-

ступников из тюрьмы, к которой направилась толпа в несколько тысяч человек для освобождения преступников силой. Я просил ректора уговорить толпу не пытаться освобождать преступников силой, говоря, что, по уже состоявшемуся соглашению моему раньше, предположено многих освободить, что не будут ни в каком случае освобождены анархисты, преступная деятельность которых преследуется всеми государствами, и что будут освобождены немедленно все те, по отношению к которым может последовать амнистия. Ректор, поговорив затем с прокурором суда, направился к толпе, а я в это время предупредил командующего войсками о высылке к тюрьме, где внутри уже была одна рота, один эскадрон и одна сотня, еще пулеметов и пехоты, чтобы окружить тюрьму. Толпа послушалась увещаний ректора и разошлась от здания тюрьмы, а 12 чел. арестованных было освобождено под надзор полиции; освобождены также почти все, задержанные при подавлении беспорядков 16-го октября.

В некоторых местах были схватки между христианами и евреями, магазины начали разбивать и грабить русские. Были убитые и раненые при подавлении этих беспорядков войсками. На улицах читаются об'явления особого комитета след. содержания: «От временного комитета при Одес. гор. думе: Граждане! Теперь, когда Россия пошла по пути к завоеванию свободы, необходимо соблюдать полное хладнокровие и предоставить комитету возможность выработать не позже сегодняшнего вечера, 18 окт., дальнейшие основания его деятельности. На след. же день все население всеми возможными способами будет оповещено об окончательной организации комитета и об осуществленных им мерах. Г. Одесса 18 окт. 4 ч. 15 мин. пополудни».

Везде слышатся возгласы, указывающие на неприязненное отношение к градонач. Нейдгарту.

Фабричные рабочие еврейских фабрик не работают; фабрики с русскими рабочими, кроме сахарного завода, работают. Настроение толп не свидетельствует об удовлетворенности.

С утра 19 числа, ко времени, назначенному для похорон из здания университ. клиники студента-еврея, стала стекаться еврейская толпа, преимущественно учащаяся молодежь, а также разного звания и пола сброд. Туда же направлялись русские рабочие пешком и на извозчиках с дубинами и кольями, толпа здесь достигла 10 тыс. чел. Здесь из университ. раздавалось еврейской толпе разное оружие, было разграблено евреями два оружейн. магазина: американский и Енча (по слухам, доставлялось туда оружие из думы). Вскоре здесь получилось известие, что где-то на Молдаванке идет бой между евреями и русскими. Бывшая здесь толпа разделилась, и часть ее пошла на Молдаванку, а другая осталась и вступила в бой с русскими. Похороны, таким образом, не состоялись. Тем временем русская часть, чернь, стала появляться большими толпами на улицах, а русские рабочие с образами, портретами государя и национальными флагами;

взяв матросов с коммерческих судов, направились по улицам города. Командующий войсками разрешил дать этим русским патриотическим манифестантам хоры музыки, а войскам было отдано приказание не останавливать манифестантов и не употреблять против них оружие, пока они не начнут буйствовать и грабить.

Студенты, вооруженные револьверами, делали нападения на Базарный и Александровский участки, но были отражены войсками и собранными в участках городовыми.

Толпы русских на многих улицах разбивают окна в еврейских магазинах, выбрасывают товары и уносят. При чем некоторые разбивают—не грабят, а сзади их идут специальные грабители, среди которых много женщин. Тут же на улицах многие продают награбленное специалистам по покупке краденых вещей. Были случаи разбивания многих квартир в домах, при чем в большинстве случаев это происходило как бы в месть за то, что в толпы рабочих стреляли из окон и балконов этих домов евреи, куда направлялись выстрелы из войск. Войска едва успевают прибывать на места погромов, чтобы разгонять буянов, которые встречают солдат криками «ура» и расходятся, а по уходе войск вновь приступают и разбивают магазины и разграбляют их. Везде, где проезжает кавалерия, проходит пехота, идут буяны и даже одиночные лица русские, из окон и балконов домов следуют выстрелы в них, а также бросаются бомбы.

Отовсюду везут убитых и раненых, число которых не поддается регистрации, так как, кроме гор. больниц, везут в частные лечебницы, оставляют в домах и везут в клиники университета, который остается недоступным для администрации, несмотря на то, что, по слухам, там есть склад оружия и готовятся, будто бы, бомбы.

Ректор университета Занчевский и проф. Щепкин, явясь к градоначальнику, требовали разоружения полиции, говоря, что они поставят взамен ее милицию, и, получив отказ, заявили, что оставляют за собою право сделать это насилием. По некоторым улицам города были поставлены студенты, изображавшие милиционную охрану, как это они заявляли прохожим. Стало замечаться сильное возбуждение русских против евреев, которые, в свою очередь, с большим ожесточением преследуют русских, пользуясь всяким случаем сделать выстрел хотя бы по одиночно идущему человеку. Русские высказывают свою обиду на евреев за шествия их с красными флагами после об'явления высочайшего манифеста.

20 числа с утра на улицах евреев не видно. Ходят по улицам патриотические манифестанты, в которых,—а также и в войска,—бросают бомбы, стреляют из окон и балконов. После выпуска градоначальником об'явления, что если стрельба из домов не прекратится, то дома эти будут разрушены артиллерией, и когда артиллерия стала проезжать по улицам,—стрельба утихла.

В этот день, в виду многих разбитых квартир, стало в больницу поступать раненых значительно в большем % евреев, чем русских,

тогда как 19 числа, по заявлению спрошенных мною врачей в больницах, русских раненых поступило 90%, а евреев лишь 10%; в последующие дни—наоборот.

21 числа с утра стали ходить большие толпы русских, которые разбивают магазины евреев, видимо, намеченные раньше, и уносят награбленное. Войска недостаточно энергично разгоняют грабителей, видимо, сочувствуя им. Я был свидетелем разграбления нескольких магазинов, при чем приехавшим для прекращения грабежа 7 казакам толпа прокричала «ура», но ни один казак не остановил ни одного грабителя и, разгоняя, делали толпу несколько реже. Но пока магазины не были окончательно разграблены, толпа не ушла, а затем переходила к след. магазинам, где происходило то же.

Выстрелы мало-по-малу редели, а к вечеру появились вагоны конки под охраной солдат.

В 12 час. ночи я по телефону вел переговоры с больницами о числе убитых и раненых, доставленных туда, при чем удалось установить,—и то приблизительно,—что всех раненых доставлено за все дни 905 чел., убитых же доставлено в еврейскую больницу 80 чел., в др. больницы убитые не доставлялись. Сколько всех убитых, мне даже приблизительно не удалось узнать, так как полиция и сама не знала, сколько убитых; можно тоже приблизительно узнать на кладбищах, что, вероятно, и сделает следственная уже власть. Вообще, насколько можно было узнать, убитых около 300 ч. русских и евреев.

Раненые есть тоже в частных лечебницах и по домам, но сколько их там—неизвестно.

Насколько беспорядки были во власти евреев, можно до некоторой степени судить по след. фактам. Огромный дом Баржанской на уг. Ришельевской и Полиц., где помещается вверенное мне управление, и дом, где живу я, на Полицейской № 22, через дом от управления, я взял лично под свою охрану. В еврейские квартиры этих домов переехали родственники квартирантов. 22 числа утром ко мне явился управляющий домом Баржанской благодарить меня от имени жильцов за избавление их от погрома; то же самое сделали и жильцы дома, где я живу.

Врач еврейской больницы в час ночи с 21 на 22-ое разговаривал со мною по телефону и сказал мне, что вчера администрация больницы просила дать ей соседний с больницей дом для помещения раненых, но сегодня вечером, т.-е. 21, она от этой просьбы отказалась, т. к. не предвидит на завтра притока раненых. Из этого видно, что евреи знали еще 21, что 22 уже не будет бойни. Об'явления же от им. команд. войсками о стрельбе в буянов появилось на улицах 22 утром; относилось оно к буянам только русским, т. к. евреи стреляли, а не буянили.

Вообще можно притти к заключению, что все происшедшее явилось последствием еврейской организации, готовившей совместно с русскими фабричными рабочими сделать громадную

демонстрацию с захватом власти в свои руки, но об'явление высочайшего манифеста и несоответственное принятие его настроенной на достижении проявления Одессой факта революции—сбило русских рабочих, которые сочли оскорбленным свое патриотическое чувство и проявили свое национальное чувство вражды к еврейскому,—чувство более сильное, чем навеянное им евреями революционное настроение.

И, таким образом, созданная в стенах университета при содействии профессоров и в заседаниях думы революция не удалась и окончилась печально для евреев и постыдно для русского населения, оказавшегося грабителями...

Начавшиеся антиеврейские беспорядки по деревням Одесского уезда охватывают почти весь уезд, где есть евреи, при чем после избиения евреев беспорядки прекращаются. В Овидиополе убито 10 чел., есть раненые; в Маяках—только раненые. В остальных местах убит только один человек. Посланы в уезд войска.

В Одессе с 22 числа порядок восстанавливается, и жизнь города приходит в норму. Изредка ночью слышны выстрелы» [1].

После октябрьских дней у рабочих появляется большая тяга к организации профессиональных союзов, и эти последние начинают расти, как грибы. Первыми сорганизовались в союз металлисты, потом печатники, за ними стихийно стали об'единяться в союзы и другие. Между меньшевиками и большевиками и в этом вопросе были разногласия. Помню первое собрание печатников, где большинство рабочих шло за меньшевиками; тем не менее нам удалось провести в правление 2—3 большевиков, остальные были меньшевики и беспартийные. Против некоторых беспартийных мы выступали решительно. Один из них, Подымов, был управляющий крупной типографией, известен своим плохим отношением к рабочим, как антисемит, но зато был в хороших отношениях с губернатором, полицеймейстером; выставляли его меньшевики, главным образом, потому, что он пользовался авторитетом у администрации города и благодаря ему существовал союз; его выбрали даже председателем союза, в каковой должности он и состоял несколько лет, при поддержке меньшевиков. Другой, Бергер, был администратор меньшего калибра, но все-таки он был старшим мастером и некоторое время управляющим типографией. По существу, следовательно, он не должен был быть не только членом правления, но и членом союза. Несмотря на эти недостатки, союз играл, несомненно, большую организационную роль в годы под'ема и реакции.

Большевики использовали легальные возможности, главным образом, для того, чтобы проводить свою революционно-классовую пропаганду среди рабочих; на ряду с этим они занимались и практическими организационными вопросами. Цейнерман («Лева»)

[1] Дело жандармского управления, № 28

был, несомненно, способный организатор и пользовался большим авторитетом в союзе.

У металлистов в составе правления не было таких фигур, как Подымов и Бергер, что об'ясняется тем, что там большевики пользовались бо̀льшим влиянием, чем у печатников.

Помещаемое ниже в выдержках интересное письмо, напечатанное в «Коммерческой России» завода Ропит'а, рисует как нельзя лучше тогдашнее настроение рабочих металлистов:

«Последние события еще раз доказали, что неорганизованными рабочими могут пользоваться всякие темные силы для своих личных выгод во вред всем рабочим».

В создании своего об'единения, в организации профессиональных союзов ропитовские рабочие видели оружие против попыток реакционных элементов затемнить сознание рабочих.

«С сегодняшнего числа,—говорится далее в письме,—мы приступаем к организации открытого профессионального союза. Желающие поступить в члены союза уплачивают рубль одному из выборных. Члены союза избирают из своей среды нескольких товарищей для выработки устава союза и для сношения с организациями других заводов».

К концу ноября 1905 г. почти все одесские трудящиеся, пользуясь захватным правом, организовались в профессиональные союзы. Даже дворники—и те организовали свой профессиональный союз. Руководителями в организации союзов были исключительно социал-демократы,—эс-эры и анархисты не имели почти никакого влияния на эти союзы. Одесский комитет обращал очень серьезное внимание на этот вопрос.

Наличность в городе массы безработных дала повод об'единенному комитету выпустить специальную прокламацию, в которой в ярких красках рисовалась вся политика царского правительства и городской думы и пролетариат призывался к революционной борьбе.

От'езд за границу.

После погрома прошло около двух лет. Я жил на Мещанской улице, и в моей квартире часто происходили собрания. Безопасность этих собраний охранял... дворник нашего дома, которого мне удалось завербовать на нашу сторону, и когда у нас происходили собрания, он дежурил на улице. Благодаря этому мы могли спокойно работать. Но вот однажды дворник передал мне, что к нему приходили какие-то люди, очевидно, шпики, и расспрашивали обо мне. Полиция уже имела меня в виду и только, видимо, ждала удобного случая, чтобы арестовать.

Нужно было уехать из Одессы. Я решил направиться в Екатеринослав, как крупный промышленный центр, предварительно взяв партийную явку. Там я скоро поступил на фабрику. Кроме того, я стал работать в типографской группе большевиков. Там я встре-

тил еще раз «Лизу», которая в то время уже не работала в партии по болезни. Она меня устроила у себя на квартире, и я после работы мог вести беседы с опытным партийным товарищем.

После нескольких месяцев пребывания в Екатеринославе, который мне как-то не нравился, я опять вернулся в Одессу, где в то время работали Владимир «Тульский» и Владимир «Рыжий» (Орлов).

Главной моей работой в Одессе было наладить типографию для издания нелегальной газеты. Секретарем партии, если не ошибаюсь, был тогда Владимир «Рыжий». Благодаря провокации, типография наша провалилась, два моих товарища были арестованы и сосланы на каторгу. Я уцелел и после провала типографии стал готовиться к поездке за границу, куда давно тянуло.

От 'езд за границу оказался делом нелегким. Тормозила не только материальная сторона, но и политическая. Приходилось пускаться в дорогу с небольшими средствами и нелегально. Но желание побывать за границей было сильнее всех препятствий, и никакая сила не могла остановить меня от достижения намеченного плана.

От наших партийцев я узнал, что в Польше, около маленького пограничного городка Дубно, можно нелегально перейти границу. Туда я и направился. В г. Дубно товарищи в течение 2 дней все мне устроили, и ночью я отправился в лес, чтобы через него добраться до австрийской границы. Приходилось долго бежать, зачастую ложиться в грязь, прислушиваясь к малейшему подозрительному шороху. Так я добрался до одной австрийской деревни, где переночевал, а утром был уже на станции, чтобы отправиться в Вену, а оттуда—в Париж. Одно смущало меня,—мысль о том, как трудно мне будет без знания французского языка и без копейки денег жить в таком большом городе, как Париж.

Ехавшие со мной в поезде подозрительно осматривали меня, одетого в простую русскую рубашку. Когда ко мне обращались с вопросами, я отвечал по-русски: «ничего не понимаю». Когда, наконец, я приехал в Париж, я буквально не знал, куда двинуться. Масса народу, чужая, непонятная речь, шум автомобилей, трамваев, омнибусов,—все это ошеломило меня. Идя по улице, я часто останавливался, боясь, чтобы на меня не налетел автомобиль или извозчик. Я удивлялся, глядя на парижан, которые так свободно себя чувствовали во всем этом хаосе шума и движения. В кармане у меня был адрес одного товарища, жившего в Париже. Разыскать его являлось первой необходимостью.

Адрес был написан на клочке бумаги, и я показывал его всем, кто казался мне русским. Но к кому я ни обращался, все оказывались французами и только отрицательно качали головой. Наконец, после долгой ходьбы я добился результатов. Мне указали на громадный дом, напоминавший дворец. По внешнему виду я никак не мог поверить, чтобы здесь жил мой товарищ—простой рабочий. Когда я показал свою бумажку дворнику этого дома, он провел меня черным ходом со двора и пальцами указал «7», что значило—

7-й этаж. Я начал взбираться по лестнице, которая была так узка, что 2 человека, встретившись, едва могли разойтись. Комната, где жил мой товарищ, была комнатой для прислуги. Это было маленькое с окном в потолке помещение, имевшее вид настоящей тюремной камеры. Солнце никогда не проникало сюда.

От товарища я узнал, где живут эмигранты и где собирается большевистская группа. Через несколько часов я был уже в русской библиотеке, где радостно слушал русскую речь. Узнав адрес нашей группы, я связался с секретарем, который сообщил мне, что работу здесь найти трудно, но все-таки по силе возможности помочь обещал. С этого дня я с утра до позднего вечера бродил по городу, заходил на переплетные фабрики и мастерские, где показывал знаками, что я переплетчик. Ответом на это был или смех, или жест, указывающий на дверь. Так почти две недели я шагал по мостовым Парижа.

Однажды случайно около Пантеона, где находится университет, я нашел переплетную мастерскую, которую содержал какой-то поляк, говоривший немного по-русски. Поняв, что мне нужно, он быстро и с видимым удовольствием принял меня на работу. Эксплоатация в этой мастерской была безбожная. Рабочие работали в день по 12—15 часов, получая за это 5 франков. Хозяин прекрасно понимал, что рабочие от него никуда не уйдут, дорожа своим местом. Я лично был рад, что хоть немного мог заработать себе на пропитание.

К этому времени я уже успел познакомиться со многими товарищами и побывать на заседании группы—в небольшом кафе, переполненном незнакомыми мне товарищами. В каждом лице я видел тов. Ленина, которого я тогда еще не знал. Мне говорили, что в нашу группу входят и т. Ленин, и т. Зиновьев, и т. Богданов, и много других.

Ярко запечатлелось в моей памяти одно собрание под председательством т. Семашко. Первым выступил т. Григорий (Зиновьев) с докладом об «отзовистах». Ему возражал в эффектной речи т. Мануильский, который жил тогда под псевдонимом «Ваня» (впоследствии—«Безработный»). Когда председатель сказал, что «слово предоставляется тов. Ленину», и тот начал говорить, я буквально впился в него глазами. Каждое его слово глубоко проникало в сознание, хотя он говорил не с таким ораторским пафосом, как т. «Ваня».

На том же собрании я познакомился с т. Литвином («Седой»), которому впоследствии был многим обязан. Благодаря ему, я получил комнату в том доме, где он жил,—на улице Паскаль, в пролетарском центре, где находилось много кожевенных заводов. Тов. «Седой» работал тогда слесарем на одной из фабрик. Устроившись с квартирой, я начал постепенно обзаводиться хозяйством: купил себе кровать, стол, стулья и пр.,—словом, устроился так, как все эмигранты.

С раннего утра я уходил на работу, обедал в ресторане, а поздно вечером, утомленный и разбитый, поднимался на свой 6-й этаж и при-

нимался готовить на спиртовке себе ужин. Если случалось, что не было спичек, я бросался в постель и засыпал голодный, так как спуститься вниз за спичками нехватало сил.

В районе «Гобленка», где ютились наши эмигранты, почти еженедельно бывали рефераты на различные темы. Разбирались всевозможные политические течения. Часто выступали меньшевики с Даном и Мартовым во главе. Споры на этих рефератах всегда были горячие. Это как-раз было время жестокой борьбы большевиков с «ликвидаторами» на правом фланге и «отзовистами»—на левом. Все тонкости этих вопросов мне, молодому рабочему, были мало понятны, но я все же старался в них разобраться и потому не пропускал ни одного реферата.

Я продолжал работать в мастерской поляка.Безработица в то время была большая, и наши эмигранты подлинно умирали с голоду. По истечении нескольких месяцев работа на нашей фабрике уменьшилась, и хозяин рассчитал меня. Однако, без работы я был недолго. Мне предложили работать в типографии ЦК партии, где печатались «Пролетарий» и «Социал-Демократ». Там моя работа заключалась в том, чтобы фальцовать и сшивать «Протоколы Лондонского С'езда», а также делать трубочки, в которые вкладывались напечатанные на папиросной бумаге «Пролетарий» и «Социал-Демократ». Для лучшей маскировки содержимого трубочек, туда вкладывались еще какие-нибудь шикарные гравюры, и в таком виде свертки посылались в Россию по какому-нибудь буржуазному адресу. Типография помещалась вместе с редакцией на «Авеню де Орлеан», в одном из особняков. Ежедневно в редакции происходили заседания с Лениным, Зиновьевым и Каменевым во главе.

К этому времени в Италии, на острове Капри (где жил тогда Горький), открылась партийная школа для партийных рабочих. ЦК нашей партии был решительно против этого мероприятия, так как преподавателями школы были махисты, богоискатели и отзовисты. Там были Алексинский (теперешний белогвардеец), Богданов, Луначарский, если не ошибаюсь, и ряд других лиц.

У ЦК явилась тогда мысль организовать свою школу в Париже. В качестве первых учеников выделили нескольких рабочих, в том числе—и меня. Собирались мы в одном из домов, где жили исключительно эмигранты-большевики. В нашу группу входили, как мне помнится, «Абрам Беленький» (работающий теперь в ГПУ), Исаак «Косой» (кличка), Фигатнер, еще один рабочий, по профессии сапожник, Бреслав.

Вспоминается мне первый урок. Собрались мы все вечером в комнате одного из наших товарищей. Комната эта была маленькая, с убогой обстановкой: ветхая кровать, небольшой деревянный стол, два простых стула. Ильич давал первый урок. За неимением места мы все разместились на кровати. Ильич сказал нам, что будет заниматься с нами по аграрному вопросу, по той книге, которая им написана, но еще не напечатана.

Кроме Ленина, с нами занимались: т. Зиновьев—по истории профдвижения, т. Каменев—о нашей тактике, и др. Как просто чувствовали мы себя с тов. Лениным! В нем мы видели не лидера партии, а старшего товарища, который многому может нас научить. Должен отметить, что единственно, кто относился серьезно к нашим занятиям, это—Ленин. Он занимался с нами 2 раза в неделю и редко опаздывал к назначенному часу. Иногда случалось, что он приходил раньше и ждал нас. Если же он почему-либо не мог притти на урок, то за день посылал каждому из нас на квартиру телеграмму с уведомлением, что занятия переносятся на следующий день. С удивительной осторожностью подходил он к каждому из нас в отдельности; он знал, что мы несем тяжелую работу и потому никогда не заставлял нас ждать. Мы занимались с большим интересом. Несмотря на то, что мы бывали переутомлены после тяжелой дневной работы, никто из нас не манкировал занятиями.

В своих беседах с нами тов. Ленин часто подчеркивал, что спорить с противниками, и особенно с эс-эрами, нужно очень умело, так как они всегда стараются отвлечь внимание другими, посторонними вопросами, как это, например, было с ним и Виктором Черновым.

«Я в Швейцарии,—говорил т. Ленин,—по всем городам читал рефераты по аграрному вопросу, и в каком бы городе я ни появлялся, за мной следом всегда являлся и Чернов, хотя его никто не приглашал. В дискуссиях он всегда старался отделаться от принципиально затронутых вопросов общими фразами, которые ничего общего не имели с темой доклада. Нужно бить противника цифровыми данными, чтобы ему некуда было деться, и в то же время на зубок знать тот вопрос, о котором говоришь, потому что противник будет всегда стараться сбить вас с толку и даже подтасовать те же цифровые данные. Это особенно важно в отношении к ученым кадетам и эс-эрам. Сейчас, товарищи, нужно понимать и философские вопросы. Вот на Капри Горький сейчас собрал учеников со всей России, и славных ребят, а что там читают? Забивают им голову хламом в роде философии Маха, которая ничего общего не имеет с учением Маркса, или отзовизмом, который носит характер карикатуры на большевизм. Неправилен взгляд товарищей, которые думают, что философия—ненужная штука для рабочего».

В общем занятия наши шли хорошо. Так продолжалось несколько месяцев. За это время Фигатнер, я и Бреслав определенно решили ехать обратно в Россию, так как жить в эмигрантской среде было тяжело, а связи с французами почти никакой не было. Не зная французского языка, приходилось жить обособленно.

Типография и редакция Avenue d'Orléans, где мне приходилось ежедневно работать, помещалась в особняке, во дворе. Там работали 3 наборщика и я. Печатать отдавали во французскую типографию. Ответственным редактором был тов. Зиновьев. Ильич ка-

ждый день приезжал к нам на велосипеде. Почти все редакционные заседания состояли из тройки: Каменев, Ленин и Зиновьев. Обыкновенно Ильич раз'езжал по городу на велосипеде и часто заезжал менять книги в Центральную библиотеку. Однажды он оставил свой велосипед около дверей консьержа; когда же вышел, велосипеда не оказалось. Рассказывают, что он возмущался только тем, что у него нет денег, чтобы купить другой.

Публичные рефераты с выступлением Ильича были очень редки, и для таких выступлений обыкновенно нанимался большой зал, который переполнялся жаждавшей послушать Ильича публикой. Но Ильич гораздо охотнее, никогда не отказываясь от предложений, выступал в рабочем клубе «Бастилия», где собирались, главным образом, еврейские рабочие, спасавшиеся от погромов.

Моему товарищу «Сапожнику» удалось уехать в Россию раньше. Я же по некоторым личным обстоятельствам остался и продолжал заниматься. Когда Ильич узнал, что я собираюсь уезжать, он пригласил меня к себе на квартиру. В том районе, где находилась редакция, были выстроены новые дома. В одном из таких домов и жил Ильич. Мне было очень лестно как быть наедине с Ильичем, так и очень хотелось видеть, как он живет. Насколько помню, он жил на 3 этаже. Я позвонил.

Надежда Константиновна открыла дверь.

— Владимир Ильич вас ждет,—сказала она мне.

Я вошел в одну из комнат, которая оказалась рабочей комнатой Владимира Ильича. Большой деревянный стол, покрытый клеенкой, 2 деревянных стула с соломенными сиденьями; напротив стола было нечто в роде шкафа из крестообразно сколоченных досок, где была масса книг. Вот и все «убранство» комнаты.

Разговор мой с Ильичем продолжался несколько часов и касался самых существенных для большевистской фракции вопросов — о ликвидаторах, об отзовистах, о партийной школе на Капри и о последнем философском сборнике, изданном в Москве Богдановым, Базаровым, Юшкевичем и др.

— Вот я недавно получил письмо от М. Горького, — сказал Ильич,—в котором он хвалит эту книгу. Я ему ответил только, что ответ мой он прочтет в философской книге, которая скоро будет напечатана. Требовать от Горького, чтобы он был хорошим марксистом, нельзя, так как прежде всего это—художник. А социалистом он стал благодаря Луначарскому и богоискательством увлекается тоже благодаря ему. По последнему его роману «Исповедь» это можно констатировать. А школа, которую он организовал на Капри, тоже ничего не стоит, так как преподаватели забивают головы учеников своими немарксистскими бреднями. Луначарский у нас один из лучших ораторов, один из талантливых журналистов, но лентяй. В Питере, напр., в 1905 году приходилось заставлять его писать для наших газет. В Одессе, куда вы едете, есть тоже очень способный наш товарищ—Орлов-

ский [1], но он тоже порядочно ленив. Вы это можете ему сказать. До сих пор ничего не написал. Перед от'ездом я дам вам к нему явку, она вам пригодится. Одно я вас прошу, товарищ Володя,— наставлял меня далее Ильич,—передайте товарищам-рабочим в Одессе, что «Пролетарий» или «Социал-Демократ» могут благополучно выходить только тогда, когда они будут присылать нам сюда свои корреспонденции. Мы сейчас очень оторваны от рабочих, а, между тем, противно писать, когда не имеешь связи с Россией. Да и вы сами нам пишите, тем более, что вам придется, наверное, первое время быть и комитетом и секретарем его, так как в Одессе ничего теперь нет.

Я вышел от Ильича с высоко поднятой головой. Мне приятно было, что он со мной, почти еще мальчиком, говорил и делился всем, не глядя на меня сверху вниз. Эта простота, которая чувствовалась в самой его квартире, его разбросанные книги, эти простые деревянные стулья остались в моей памяти на всю жизнь.

На следующий день я взял книгу «Протоколы Лондонского С'езда», переплетенную мною в хороший переплет, и передал ее Ильичу с надписью приблизительно такого содержания: «Дорогому учителю на память от ученика в день от'езда на подпольную работу в Россию».

Между тем, изготовили специальный жилет, куда зашили массу литературы на папиросной бумаге и фальшивый паспорт.

За день до моего от'езда Ильич читал свой доклад в «Бастилии», и я пошел туда проститься с ним. Там он передал мне явку к Орловскому.

Перед от'ездом на меня надели заготовленный жилет. Он имел несколько шнуров, посредством которых меня затянули так, что я еле дышал; нужно было стараться в пути, чтобы моя полнота не возбудила подозрений. Когда все было готово, я надел на себя широкое платье и отправился на вокзал с таким чувством, что для всех якобы ясно, что у меня литература. Жена, ехавшая со мной, везла литературу в нижней юбке.

Ехал я через Берлин на Александрово (русско-немецкая граница). В Александрово поезд прибыл ночью. Еще за несколько станций до Александрово шпики начали шнырять по всем вагонам, подозрительно посматривая на каждого пассажира. Я внутренне, конечно, нервничал, но внешне был спокоен. Я знал,что, если буду арестован, меня ждет каторга.

Когда поезд остановился на ст. Александрово, жандармы начали отбирать у пассажиров паспорта. Я думал только об одном,— чтобы не провалиться здесь: а если уж и быть арестованным, то в России.

Томительные часы провел я, сидя за стаканом чая в зале I класса. Поезд должен был уйти на Варшаву только утром: задержка была из-за осмотра паспортов. Но вот начинают вызывать пассажи-

[1] Воровский.

ров по фамилиям. Моя фамилия оказалась на самом конце. Жандарм подзывает меня к себе и требует, чтобы я заплатил за все пять лет, прожитые мною за границей.

— У меня таких денег нет,—отвечаю я.

— Тогда подпишитесь, где вы будете жить; и вы там уплатите.

— Подписываю: «Одесса, Пушкинская ул., № дома и свою фамилию—Дудельдзак».

В конце-концов все обошлось благополучно, и, проехав несколько станций, я в уборной снял свой жилет.

Из Варшавы я направился прямо в Одессу.

Наш провал.

Всю дорогу я зорко следил за моей корзинкой с драгоценной литературой. Утром прибыл в Одессу. Беру извозчика, но не успел проехать и одного квартала, как толпа с иконами и с царским портретом останавливает моего извозчика с требованием ехать по другой улице. Оказалось, что какой-то «царский день», и «Союз русского народа» по этому случаю устроил демонстрацию, избивая и налево и направо встречных евреев-студентов.

Остановившись у одного из родственников, простых обывателей, я оставил там свою корзинку и пошел разыскивать старых товарищей. В союзе печатников я нашел их много, но правление союза почти сплошь состояло из меньшевиков-ликвидаторов. Через два дня я поступил работать на одну из фабрик.

С Орловским я увиделся в редакции «Одесских Новостей». Я передал ему книгу «Протоколы Лондонского С'езда» и условный знак от Ильича. Он обещал мне литературную и материальную поддержку, когда это мне будет нужно, но только через третье лицо,— к нему он просил меня не ходить: он боялся провала.

Поступив на работу, я вновь почувствовал себя хорошо. На Пересыпи я узнал, между прочим, что в Одессе есть группа «отзовистов» во главе с Белопольским. Наша организация, благодаря арестам, была почти совершенно разбита. От комитета остался один плехановец (Андрей Агеев) и один большевик (Александр). Они были очень рады моему приезду. Нам быстро удалось сорганизовать комитет. Ту литературу, которую я привез с собой, нужно было распространить по соседним губерниям и городам—в Херсоне, Николаеве, Екатеринославе и др. Комитет состоял исключительно из рабочих, в него вошли плехановец и 4 большевика: меня выбрали секретарем, и работа закипела. Быстро удалось выпустить целый ряд прокламаций. Помогли нам в этом печатники-большевики, которые печатали эти прокламации тайно от хозяина. Главные усилия нами были направлены на крупные фабрики, находящиеся на Пересыпи и Дальнике. Привезенная мной литература, несомненно, ударила по отзовистам. Рабочие—члены партии—убедились, что наша партия занимает резко отрицательную позицию против отзовистов.

Вскоре же я написал т. Ленину. Переписку с Ильичем я вел таким образом: письма вкладывал в газеты и посылал в Париж по какому-нибудь французскому адресу.

Комитет обыкновенно собирался в одном из трактиров на Малоарнаутской улице. Однажды я захожу в трактир в назначенный час, и т. Агеев сообщает мне, что из Батума приехал с явкой товарищ и привез с собой несколько пудов шрифта для типографии, так как он спас нелегальную типографию в Батуме. Теперь он предлагает ее устроить здесь в Одессе. Когда я подозрительно отнесся к этой затее, он мне начал доказывать, что я не прав. Товарищ этот приехал сюда с женой и тремя детьми и буквально умирает с голоду. Типография, конечно, нам была нужна, тем более, что мы собирались выпускать нелегальную газету. Комитет поручил Андрею Агееву организовать типографию. Недели через две он сообщил мне, что на Слободке уже найдена квартира, где и будет помещена типография.

Приближалась годовщина питерских событий—9 января. Нужно было ознаменовать этот день всеобщей забастовкой и выпустить ряд прокламаций, а также первый номер газеты «Рабочий». Типография успешно справилась с своей задачей.

В это время появились слухи, что к отзовистам проник провокатор и что, благодаря этому, ожидается большой провал [1].

Я продолжал работать, имея все время сношения с типографией. Жил я на Ришельевской ул., снимая комнату у одной старушки. Слежки за собой я не замечал, и только после моего ареста вспомнил, что одна женщина, закутанная в шаль, часто ходила за мной. Я не придавал тогда этому никакого значения и как-то не думал, что и женщины могут служить в охранке.

Дня за два до 9 января все прокламации уже были распространены по намеченным фабрикам. 8 января я пришел с собрания поздно ночью и был настолько утомлен, что, не раздеваясь, тут же бросился на кровать и заснул. Среди ночи вдруг чувствую, что кто-то меня будит. Открываю глаза и вижу несколько направленных на меня браунингов. Вся моя комната полна полицией. Дверь оказалась взломанной. Мне крикнули «ни с места!» и велели поднять руки вверх. Все в комнате перерыли, обыскали—никаких бомб не нашли. Обыск продолжался почти до утра. Нашли наброски резолюции, принятой комитетом, к счастью уже отосланной в Париж. Впоследствии я узнал, что она была напечатана в № 10 «Соц.-Демократа». Эта резолюция была направлена против ликвидаторов и отзовистов.

После небольших формальностей меня под усиленным конвоем направили в Александровский участок. В камере я застал нескольких товарищей, в том числе—и Агеева. Всего было арестовано человек шестьдесят; между ними был и тот, который приехал из Ба-

[1] В данный момент уже известно, что провокатором был Сильвестр. Он арестован и сидит в Одесской тюрьме. После моего ареста он выдал еще ряд товарищей.

тума, и с ним вся его семья. Кстати, имя приезжего было Александр Прусаков.

В числе арестованных был также и руководитель отзовистов— Белопольский.

В тюрьме.

Начальник большой Одесской тюрьмы, куда нас посадили, был известный инквизитор—полковник Перелешин. Меня посадили в одиночную камеру № 356. Камера была довольно чистая; в ней стояли железная кровать с матрацем, стол и полка с медной посудой для каши и для кипятка. Тут же стояла «параша». Первые дни для меня были очень тяжелы. Правда, часто, смотря в окошко и видя поднимающиеся аэропланы, я забывал, что сижу в тюрьме: окно мое выходило в поле, и мне было видно, как известный спортсмен Одессы—Уточкин—совершал свои полеты; в окно я видел и проходивших людей.

В нашем массовом провале была ясно видна рука провокатора. Но кто он?..

Мы все бились над этим вопросом. Прусаков? Но он сидел в камере рядом со мной вместе с 6-летним мальчиком, а жена его с двумя девочками—в женском корпусе. Правда, лицо его не внушало симпатии, но мало ли бывает несимпатичных физиономий...

В той же тюрьме сидели анархисты, приговоренные к смертной казни. Каждую ночь я ждал, что вот их выведут. Ужасно тяжело было думать, что эти молодые люди должны будут умереть на виселице. Никогда не забуду одного момента. Однажды в 1 час ночи топот по лестнице заставил меня вскочить с кровати и прислушаться—я понял, что идут «за ними». Я слышал, как открывались камеры, раздался какой-то шум, и затем последовал ужасный крик: «Прощайте, товарищи!». Слышно, как их душат, но они опять кричат: «Товарищи! Привет нашим родным! Продолжайте борьбу с этими варварами!..».

Всю ночь, как сумасшедший, крутился я по камере, и этот крик все время звенел в моих ушах. Несколько дней я чувствовал себя совершенно больным.

В одиночке я сидел уже около трех месяцев. Однажды вдруг открывают камеру и ко мне впускают товарища, по виду рабочего, который только-что был привезен в тюрьму. На мой вопрос, по какому делу он задержан, он ответил:

— По политическому.

— Раз вы попали в мою камеру, ясно, что по политическому,— отвечаю я.

— Вы где работали?

— Я,—и в голосе его почувствовалась неуверенность,—грузчик в порту, побил свою жену и в пьяном виде разорвал царский портрет. Она меня выдала, и я очутился здесь,—пояснил он, прибавив по адресу своей жены русское «словцо».

— Ну и «политический»!..—подумал я.

Как только товарищи узнали, что со мной сидит новый арестованный, начался стук из разных камер,—всем хотелось узнать, что делается на воле. И к великому сожалению, я мог сообщить только, что разорван портрет Николая...

Мой новый сожитель был высокий, здоровый мужчина с рябым лицом. К вечеру принесли для него матрац и одеяло. В тюрьме был такой обычай: тот, кто долго сидит в тюрьме, имеет право спать на кровати, позднейший же пришелец—на полу. Я предложил своему сокамернику подушку, но он отказался и, не раздеваясь, лег. Сколько я его ни просил раздеться, он почему-то не хотел. Утром он не умылся. Есть вместе со мной не хотел. Как-то после прогулки я стал доказывать ему, насколько негигиенично спать в одежде и не мыться. Тогда он признался, опустив глаза в пол:

— Видите ли, я недавно убежал из больницы, так как у меня сифилис. А вы такой славный, что я не хочу вас заразить. Я попрошу доктора, чтоб он постарался перевести меня в отдельную комнату.

Я немедленно начал стучать, требуя доктора. Пришел доктор, осмотрел его и тут же отправил в больницу, и я снова остался один в своей камере. Товарищи подшучивали надо мной, что я, дескать, избавился от «ликвидатора», ликвидировавшего царский портрет.

Как-то к нам в тюрьму привели студентов, арестованных за демонстрацию в годовщину смерти Л. Толстого. Мы были рады возможности узнать от них новости. Но, увы, они не понимали нашего стука. Только на следующий день нам удалось узнать, что их около 20 человек, и многие из них—политические младенцы. В этом мы скоро и убедились. Кто сидел в тюрьме, тот знает, какое впечатление производит на заключенных плач. Такой плач и всполошил однажды нас. Начался стук и шум во всех камерах. Явился надзиратель и чрез открытую форточку спросил:

— Чего стучите? Это студент плачет. Он хочет к маме.

Я не верил своим ушам, но это было так. Несколько студентов плакали и звали то мать, то сестру. Это были студенты не героического 1905 года, а «папины и мамины сынки». Губернатор Толмачев скоро в этом убедился, и через несколько дней студентов освободили.

Проходят месяцы, и понемногу начинаешь привыкать к тюремной жизни. Кажется, что вся жизнь пройдет в этой тюремной камере и никогда не выберешься отсюда. Я уже знал, что в Одессу посланы от ЦК партии другие работники, и работа мало-по-малу налаживается. Но вот узнаю, что опять привели новых арестованных; между ними был агент ЦК партии Модестов (клички его я не помню—как-будто «Данило») [1] и несколько других товарищей. Вместе с ними был арестован видный меньшевик-ликвидатор Штуль-

[1] Кличка Сергея Васильевича Модестова была «Данило».—*Ред.*

ман. Мне только потом удалось узнать, что благодаря Штульману был арестован и Модестов. Дело было так. Штульман служил бухгалтером в какой-то конторе и имел связи с некоторыми нашими товарищами, которые недоверчиво относились к явке Модестова. Решено было дать телеграмму в Париж—в ЦК. Условный ответ ЦК, посланный на имя Штульмана, гласил «Blanche», это означало, что явка правильна. Штульман, привыкший к легальной работе и небрежно относившийся к подпольной, оставил эту телеграмму в конторе, не уничтожив ее. Через некоторое время арестовали Штульмана, а также, на основании найденной у него в конторе телеграммы,—и Модестова.

Модестов был небольшого роста, блондин, по происхождению—сын священника, по убеждениям—старый большевик, бежавший недавно из административной ссылки. Он был удивительно выдержан. Среди заключенных он пользовался любовью за свое ровное товарищеское отношение ко всем.

Вскоре был арестован и Воровский (Орловский). Охранка стремилась доказать, что он редактировал нашу газету: у Агеева был найден 1-й лист корректуры «Рабочего», поправки на котором были сделаны, по мнению охранки, рукой Воровского. Воровский сидел в тюрьме месяца три. Тюрьма тяжело отзывалась на его здоровье и на состоянии его духа. Как-то летом белили камеры, и так как следствие наше было уже закончено, то меня перевели на несколько дней в камеру к Воровскому. Я был очень доволен этим переводом, ибо Воровский был очень интересным собеседником. Нашел я его в отчаянном настроении. По ночам он абсолютно не спал. Он ставил около себя тарелку с водой, снимал свою ночную рубашку и бросал клопов, которых находил в ней, в воду или брал лампочку и шарил по стенам, уничтожая паразитов.

— Как только заснешь,—возмущался он,—клопы ловко падают с потолка прямо на постель!

Такая война с клопами велась во всех камерах, но на Воровского она особенно действовала, как на человека, не привыкшего к тюремным условиям жизни.

Жандармское управление соединило наше дело и их,—т.-е. Модестова, Штульмана и др.,—в один процесс. Через три месяца Воровского, за недостаточностью улик, освободили, а мы продолжали сидеть. Уходя из тюрьмы, Воровский обещал нам организовать защиту.

Мне и Агееву надоело сидеть в одиночке, и мы сговорились просить начальника тюрьмы о переводе Агеева в мою камеру под предлогом общих занятий французским языком. Нас соединили. Правда, первые недели между нами происходили горячие споры с утра до ночи. Он был плехановец, и потому неудивительно, что мы имели массу поводов для прений. За год пребывания в тюрьме Агеев изменился до неузнаваемости. На воле он был совершенно здоровым человеком, а здесь он таял с каждым днем. Вскоре врач нашел у него горловую чахотку, но все-таки, несмотря на это, Агеев оставался

бодрым и веселым. На прогулках он часто издевался над Штульманом, указывая ему, что он, ликвидатор, судится вместе с нами.

— Ты хотел ликвидировать партию, а охранка тебя ликвидировала. Не нужно было встречаться с большевиками,—говорил он.

Штульман злился, а мы хохотали. Только один Модестов почти всегда молчал; но иногда и он иронизировал:

— Если,—говорил он,—нас осудят, то меня осудят за то, что у меня ничего не нашли, а Штульмана за то, что у него нашли телеграмму для меня. А так как царские судьи судят «по совести», то мы должны надеяться, что приговор будет справедливый. Ведь, каторга, это—тоже справедливый приговор.

Штульман доказывал, что такого приговора не будет, что это незаконно, тем более, что прибудут самые лучшие защитники, ибо Воровский сообщал, что из Москвы приедет Малянтович, известный политический защитник, а из Екатеринослава—Александров, и к ним присоединятся лучшие силы из местных адвокатов.

— Вы знаете,—отвечал ему Модестов,—я боюсь, что все те, у которых будут первоклассные защитники, получат каторгу скорее, чем те, которые не будут совсем их иметь.

Рядом с моей камерой сидел очень интересный товарищ—Миша Штиливкер. По убеждениям он был анархист. Часто слышно было его пение. Сидел он долго—и всегда в одиночке. Не проходило месяца, чтобы он не попадал 2—3 раза в карцер. Он никак не мог привыкнуть к тюремному режиму: то выругает надзирателей, то выгонит из своей камеры начальника тюрьмы или на свидании со своей женой устроит скандал, так как плохо слышит. Перелешин (начальник тюрьмы) ненавидел Штиливкера и очень часто бросал его в карцер на неделю или больше, откуда тот выходил ни жив, ни мертв, но через некоторое время снова туда попадал. Однажды Перелешин откровенно заявил ему, что если он будет осужден и перейдет на каторжный режим, то он его замучит в течение нескольких месяцев. К счастью, после почти 2-летнего содержания в тюрьме, суд освободил его. Иначе бы ему не сдобровать. После Октябрьской революции он стал членом РКП(б) и погиб на подпольной работе: он был растерзан в Одессе французской белогвардейской охранкой.

В той же тюрьме я познакомился с очень интересным соц.-революционером, фамилию которого не помню. Это был, если можно так выразиться, чистый ученый, математик. Мне пришлось с ним сидеть несколько дней. Он производил впечатление толстовца, так как был удивительным идеалистом. Он получил по суду вечное поселение. К моему великому удивлению, уже живя в Сибири, я узнал, что он отмстил за смерть Созонова: бежал из ссылки по подложному документу, как инженер, пробрался к начальнику тюрьмы, который замучил Созонова, стрелял в него, но, кажется, не убил. Только та эпоха могла толкать на убийство царских палачей даже таких людей, которые жили исключительно одной наукой.

С Агеевым мы сидели вместе несколько месяцев. Наши споры иногда превращались в ненависть друг к другу. Тюремная обстановка создавала такие условия, при которых буквально из-за малейшего пустяка возникала ссора, и потом целыми днями не разговариваешь с товарищем. Если кто-нибудь из нас прервет это тягостное молчание, тогда на душе вдруг становится радостно, хохочешь, как сумасшедший, не понимая, из-за какой глупости мы не разговаривали. Но проходит неделя-две, и опять повторяется та же история. Все это можно об'яснить только тем, что тюремная одиночка высасывала всю энергию, и бывали моменты, когда возникала ненависть ко всему, что есть в камере—от кровати и параши до своего товарища включительно. Наши ссоры в общем были довольно странны, так как все-таки мы очень любили друг друга. За 1½ месяца до суда Агеева забрали в тюремную больницу. У него оказалась скоротечная горловая чахотка.

Почти во всех крупных процессах в качестве «свидетельницы» выступала одна провокаторша-анархистка. Она выступала даже и в тех случаях, когда ничего и никого не знала. Ей было лет 18. Как я узнал потом, она за экспроприацию была присуждена к смертной казни, которую ей заменили 20 годами каторги. Затем ей была обещана полная свобода, если она будет выдавать всех тех, кого она знает. Она согласилась. Благодаря ей, многие погибли на эшафоте,—особенно в первое время, когда она сидела в женском корпусе, как каторжанка. Все заключенные женщины относились к ней с доверием и на прогулках говорили ей такие вещи, которых никто не должен был знать. Она внимательно слушала, чтобы затем передать все жандармскому ротмистру, а потом уже выступала на суде, как свидетельница. Эта особа, не зная никого из наших обвиняемых, заявила следователю, что она знает и меня и других, что мы как-то собирались у нее на квартире, где хранили оружие.

Однажды меня вызывает к себе жандармский ротмистр, который вел дело. Он очень любезно здоровается со мной и говорит:

— Знаете, г-н Деготь, вы прекрасно выглядите!

— Конечно, в романовском замке нетрудно поправиться, — ответил я.

После такого обмена «любезностями» он перешел прямо к делу:

— Вы знаете N? (он назвал имя провокаторши, которого я не помню).

Я ответил отрицательно.

— А она вас хорошо знает,—продолжал ротмистр,—вы у нее собирались и хранили оружие.

— Это наглая ложь провокатора,—сказал я.

На этом разговор наш с ротмистром кончился, и я не мог представить себе, что эта особа будет иметь наглость выступить и на нашем процессе.

Вместе с нами сидел болгарский товарищ—Дмитров, брат одного из видных руководителей коммунистической партии Болгарии. Он был по профессии переплетчик. Держал Дмитров себя

хорошо, но только почему-то его вызывал к себе начальник тюрьмы. Когда его спрашивали о причине такого частого вызова, он отвечал, что он получает из Болгарии письма или деньги и поэтому его так часто и вызывают в контору. Я никогда не мог бы предположить, что он вел переговоры с начальником тюрьмы о подаче, — в случае, если его осудят, — прошения на высочайшее имя, как это потом выяснилось.

Наконец, мы получили обвинительный акт: нас, свыше 20 человек, привлекали к суду по 1-й части 102 статьи. Дело было назначено на 11 марта 1911 года. Я лично жил только этим днем. Мне хотелось скорее узнать свою судьбу, хотелось какой-нибудь перемены.

Вот наступил и долгожданный день. Рано утром нас вызвали, надели ручные кандалы и под усиленным конвоем повели в суд. Женщин посадили в тюремные кареты, а мы пошли пешком. Как было приятно, когда перед нами раскрылись тюремные ворота! Больше часу шагали мы по городу. Раздражали только ручные кандалы. В судебной палате нас разместили по отдельным комнатам, где мы могли свободно разговаривать со своей защитой. Я, Модестов и ряд других товарищей решили заявить, что мы являемся членами партии, и произнести речи. Но Малянтович, приехавший из Москвы, был решительно против этого, говоря, что дело будет происходить при закрытых дверях и наши речи не будут иметь агитационного характера и только могут принести вред другим товарищам. Мы согласились с ним, но поставили условием, чтобы защита не выходила из строго юридических границ дела, без каких-либо просьб о «снисхождении». На этом и порешили. Из посетителей в зал заседания могли притти только три родственника каждого из подсудимых. Этим правом воспользовались моя жена и сестра.

На суде мы все чувствовали себя бодро. Штульман был уверен, что его оправдают.

Но вот раздается возглас: «Суд идет!»—и в зал входят вершители наших судеб....

Три дня продолжался процесс. Допрашивали десятки свидетелей. Одна свидетельница заставила нас хохотать. Это была та самая провокаторша, о которой я уже упоминал. Она говорила о том, как Деготь приносил ей оружие и литературу, как я с другими товарищами (называя их по фамилии) приходил к ней.

Когда она кончила, Малянтович попросил председателя предложить «свидетельнице» указать подсудимого Деготя, которого она, по ее словам, хорошо знала. Председатель предлагает ей сделать это. «Свидетельница» смотрит на нас и указывает на... Штульмана. С таким же успехом она «узнавала» и других товарищей, что было вполне естественно, так как никогда не видела нас.

В прекрасных речах Малянтович и Александров разбили наголову прокурора, легко доказав, что все обвинение основано на доносах.

Однако, несмотря на эти убедительные речи, приговор был очень суровый. Только 6 человек были оправданы. Остальные получили каторгу и вечную ссылку. Штульман—4 года каторги, Модестов—6 лет, я и другие товарищи—по 8 лет каторги с заменой вечной ссылкой в Сибирь; замена эта мотивировалась нашей молодостью и легкомыслием.

Модестов бледен, но спокойно произнес:

— Приговор вынесен по совести, мы бы им вынесли и не такие еще приговоры.

Освобожденные радовались, а нас отправили снова в тюрьму и рассадили по камерам. Агеев был еле жив. Видно было, что он вряд ли доживет до ссылки.

По дороге в ссылку.

Жена моя начала хлопотать о разрешении следовать за мной в ссылку, но губернатор Толмачев старался отговорить ее от этого намерения. Ее вызвал к себе чиновник особых поручений и пытался убедить в том, что она не знает, на что идет. Он говорил ей, что она еще слишком молода и не представляет себе, что ждет ее в Сибири.

— По закону вы можете получить развод,—сказал он.

Получив решительный отпор, он переменил разговор, заметив, что предупреждает ее только по своей гуманности. После долгих хлопот она получила, наконец, разрешение ехать со мной.

Нас отправили в конце мая, без предупреждения об этом.

Однажды меня вызвали в контору, где были собраны все товарищи, уже переодетые в арестантское платье. Мне велели раздеться догола. Отобрали пару белья из грубого холста, арестантский халат, шапку и коты. На дворе нас ждал конвой, который надел на нас ручные кандалы. Из всех арестантов и арестанток выделялась моя жена в «вольной» одежде. Она считалась арестованной, несмотря на то, что следовала добровольно. Коты никому не приходились на ногу: одним были очень малы, другим велики. По окончании этой процедуры нам приказали выстроиться. Затем начальник конвоя стал вызывать каждого из нас, задавая трафаретные вопросы: имя, фамилия, есть ли коты, халат и другие казенные вещи. Все это делалось в самой грубой форме, как бы с целью подчеркнуть, что мы, мол, ссыльные и с нами можно не церемониться. В конце-концов нас под усиленным конвоем повели на вокзал. По дороге я несколько раз получал удары прикладом, так как не шел «в затылок», а мне было очень трудно итти, потому что коты спадали с ног. На удары я отвечал протестами, за которые получал новые удары.

Нас провожали сотни людей, между которыми было много знакомых рабочих, посылавших нам сочувственные жесты. Под громкую команду солдат—«В затылок, в затылок!» мы, наконец, дошли

до вокзала. Как водится, нас посадили в специальные арестантские вагоны и отправили в Киев. Жена моя поместилась со мной.

С конвойными, в отсутствие офицеров, у нас сразу установились хорошие отношения. Откуда-то появились газеты, которых я лично не читал около 1½ года. В нашем вагоне была масса уголовных женщин, с которыми солдаты обращались довольно свободно.

В Киеве нас гнали пешком несколько верст до пересыльной тюрьмы. Там повторилась та же комедия, что и в Одессе: опять вызывали, задавали те же вопросы, на которые следовали прежние ответы. Через два дня нас отправили в Курск.

Нигде, ни в какой тюрьме я не пережил того, что пришлось пережить в Курском остроге. Как только нас впустили во двор и началась перекличка, я увидел, как избивают тех моих товарищей, которые были вызваны. Били за то, что не так ответил или не так шагнул. Естественное возмущение с нашей стороны вызвало поголовное избиение. Окровавленных, нас бросили в тюрьму, где сидело уже много каторжан. Когда закрыли камеру, уголовные предупредили нас, что здесь имеются специальные надзиратели, которые избивают внутри камеры каждого за малейший пустяк. Словом, режим в этой тюрьме был такой, что за 3—4 дня, проведенные здесь, я выстрадал больше, чем за 1 год 3 месяца заключения в Одессе. Заключенных избивали за то, что звон кандалов раздражал надзирателя; били за просьбу пустить в уборную; в заключение мы, политические, были избиты за отказ от общей молитвы.

Когда через несколько дней нас отправили дальше, мы были настолько подавлены, что первое время даже не разговаривали друг с другом. Жена моя не узнала меня, так я изменился.

После Уфы нам попался хороший подбор конвойных. Солдаты поднесли моей жене цветы, а мне газеты. В общем отношение солдат к нам было прекрасное. Но едва только показывался офицер,— все менялось.

Почти три месяца продолжалась дорога до Красноярска. Красноярская тюрьма была центром, куда прибывали каторжные со всех городов нашей обширной бывшей империи. Здесь этапных иногда задерживали по целым месяцам, пока не отправляли по месту назначения. Тюрьма была громадная. Разделялась она на несколько корпусов, из которых один был пересыльным.

Как только мы прибыли, Агеев настолько был плох, что его отправили в больницу, где он и умер на второй день. Это была первая жертва тюремного режима из моих сопроцессников. До последней минуты он был в сознании. На прощание он сказал мне:

— Володя, ты меня больше не увидишь! Прощай!..

Мы крепко обнялись, и он, держа мою руку в своей, добавил:

— Как только у тебя будет возможность, беги из Сибири, иначе тебя ждет такой же конец, как и у меня...

Смотря на умирающего, я никак не мог себе представить, что это тот самый Андрей, с которым я когда-то сидел в трактире и

решал вопросы, как лучше организовать нашу подпольную работу.

Едва нас разместили по камерам, как раздалась команда собираться в баню. Когда мы двинулись, я сразу почувствовал, что эта тюрьма похожа на Курскую. Перед моими глазами то тут, то там били арестованных. Смены белья у меня не было. Пришлось в камере снять свое белье и переслать его жене, чтобы она его выстирала. Целый день я шагал по камере голым, дожидаясь, пока белье высохнет. В этой камере, куда меня поместили, были каторжане, которые ждали несколько недель отправки дальше. Между ними были секретарь Питерского комитета большевиков, Григорий Спиридонович Вейнбаум, после революции ставший председателем Красноярского исполкома, и другой видный товарищ, Резников, член Батумского комитета партии.

Увидев Прусакова, Резников бросился на него и воскликнул:

— Как, и ты здесь—провокатор?!.

Я остановил его и потребовал об'яснений, на каком основании он делает такое заявление. Я знал, что Прусаков все время сидел вместе с нами в тюрьме и теперь идет в ссылку, как и другие.

Резников заявил, что Прусаков работал у них в типографии, выдал многих товарищей, а сам уехал неизвестно куда, забрав с собой шрифт. Тогда Батумский комитет выпустил прокламацию, в которой об'являл его провокатором.

Зная, что грузины народ горячий и легко, по непроверенным данным, могли допустить ошибку, я считал себя морально ответственным перед Прусаковым, поскольку я был секретарем Одесского комитета, а Прусаков работал со мной. Поэтому я предложил выделить комиссию из политических для расследования. В эту комиссию попали: я, Григорий Спиридонович и еще трое товарищей. Из допроса Резникова выяснилось, что Батумский комитет, действительно, выпустил прокламацию, но на каком основании это было сделано, Резников не мог дать удовлетворительных об'яснений. В виду всего этого комиссия постановила считать Прусакова оправданным. Правда, у меня было против него подозрение, особенно после рассказа покойного Агеева о странном приезде Прусакова в Одессу со шрифтом в подушках. Но, видя его самого и его четырех детей среди нас, я старался отогнать мои подозрения.

В Красноярской тюрьме нам пришлось сидеть несколько недель. За это время много издевательств было совершено над нами. Обыкновенно вечером, до поверки, всех арестантов заставляли молиться. Между нами было много уголовных, которые исполняли это с готовностью. Только политические отказывались молиться. Однажды пришел помощник начальника тюрьмы и заявил, что лишает нас на 2 суток обеда; если же мы будем продолжать отказываться от молитвы, он будет вынужден прибегнуть к другим, более строгим мерам.

— Не забудьте,—сказал он нам,—что вы лишены всех прав состояния, и я, что захочу, то и сделаю с вами. Как видно, никто из вас еще не пробовал розог.

Мы продолжали упорствовать. К вечеру второго дня к нам ввалилась целая банда тюремщиков с помощником начальника во главе, крича: «На молитву!» Видя, что мы не трогаемся с места, они принялись нас бить, после чего побросали по карцерам.

В конце-концов нас «распределили» и погнали дальше. Я, Григорий Спиридонович, Прусаков, Дмитров и еще 20 других товарищей были отправлены на пароходе в Енисейск, где с нас сняли ручные кандалы и отправили пешком в Еланскую волость, откуда мы должны были направиться на наше место жительства—в деревню Подгорново.

Всю дорогу до Елани я чувствовал себя удивительно хорошо. Руки были свободны. Легче дышалось. Но перед нами стоял вопрос: где взять денег на жизнь? Выдача арестантских 10 копеек была прекращена. С собой брать денег не разрешалось. К счастью, у жены моей в пальто было зашито 10 рублей. Но на 24 человека эта сумма была ничтожной.

В Елани мы были встречены политическими ссыльными, жившими там. Встреча была удивительно хорошая, особенно со стороны тов. Н. Л. Мещерякова. Меня и Григория Спиридоновича он пригласил к себе. Он рассказал нам много новостей, которые мы буквально глотали, так как совершенно были оторваны от всякой политической жизни. На следующий день мы отправились в Подгорново, которое находилось в 30 верстах от Елани.

В ссылке.

Прибыв туда в арестантской одежде, мы произвели на живших там полудиких людей такое впечатление, что они убегали от нас. Деревня Подгорново имела несколько десятков изб, окруженных тайгой. Староста начал искать для нас квартиры, но никто не соглашался впустить нас. В этой деревне никогда не было ссыльных, и наше появление напугало жителей—«чалдонов». Мне легче было найти квартиру, так как жена моя была одета в «вольное» платье. Мы попали в одну семью, которая уделила нам маленькую комнатку. Первое время мы чувствовали себя удивительно хорошо. Только долго еще мне все казалось, что за мной идут надзиратель или жандарм. Мне не верилось, что я уже не взаперти. Другие товарищи также кое-как устроились.

Теперь нужно было подумать о хлебе насущном.

Мы избрали «комитет», в который попали Григорий Спиридонович, я и еще несколько товарищей. Главная задача этого комитета состояла в том, чтобы найти работу для всех товарищей, так как состав наш был пролетарский и ждать регулярной помощи от родных не приходилось. Но что можно было сделать, когда не разре-

шалось удаляться от деревни далее, чем за версту? Помощи от государства не полагалось, так как мы были лишены «всех прав состояния». Работы у «чалдонов» не было никакой, а если и была, то только за кусок хлеба. Не даром называли эту ссылку «сухой гильотиной». Голодная смерть сторожила всех в каждом углу.

За три рубля в месяц нам удалось организовать получение и отправку корреспонденции через почтаря из Енисейска, который проезжал через нашу деревню. Григорий Спиридонович жил как-раз там, где проезжал почтарь, и его квартира сделалась центральным местом для всех нас, тем более, что он начал получать от родных крупные суммы денег.

Постепенно мы начали приспособляться к этой тяжелой жизни. Когда мы выходили на улицу, комары, мошкара буквально заедала нас; нужно было надевать на лицо особую сетку из конских волос и руки мазать дегтем; только ночью можно было дышать свободно.

Между политическими ссыльными было много польских социалистов. Я в своей жизни никогда не видал таких узких националистов, как эти поляки. Прусаков со своей семьей жил отдельно и ужасно голодал. Если у какого-нибудь чалдона была ненужная собака, Прусаков ее убивал, шкуру отдавал чалдону, а мясо употреблял в пищу.

Настоящим праздником для меня был день, когда я получил от своих родных 5 рублей. На эти деньги я мог жить целый месяц.

Несколько времени спустя в наши края приехали из центра топографы. Их задачей было подготовить землю для крестьян-переселенцев из России. Когда выяснилось, что чалдоны неохотно идут на тяжелую работу по рубке таежного леса, исправник разрешил брать в работники ссыльных. Мы все, конечно, бросились записываться на эту работу, за которую платили 1 рубль в день.

Хотя я не имел никакого понятия о работе по рубке леса, все-таки записался и на второй день должен был пешком отправиться в Елань с тем, чтобы оттуда пройти в другую деревню за 200 верст. В Елани я остановился у тов. Мещерякова. Затем меня, Дмитрова и еще 2 политических отправили на место назначения. Несколько дней и ночей пришлось шагать от одной деревни к другой, находящихся друг от друга верстах в 30—40. Кругом—тайга. В каждом шорохе чуяли шаги медведя. Каждый из нас имел за поясом топор. Носить оружие нам запрещали, хотя, по рассказам чалдонов, почти ежедневно медведи нападали на людей. Охотники передавали, что медведь очень хитер, особенно знающий уже вкус человеческого мяса. Он подбирается неслышно, как кошка, и затем неожиданно бросается на человека. Ночью в лесу мы не ложились до тех пор, пока не разжигали костра. Таким образом, мы добрались до деревни, откуда всей экспедицией должны были направиться на место нашей работы.

В этой деревне мы пробыли два дня. Топограф оказался еще молодым человеком, но держался очень нахально. Разговаривал с нами свысока. Всего рабочих собралось около 15 человек. С нами

было несколько лошадей, провизии было приготовлено недели на три. Каждый из нас отточил свой топор. Политических среди рабочих было человек шесть. Только один топограф был вооружен—имел винтовку, браунинг и кинжал.

Первые 15—20 верст мы шли по дорожке, которую протоптали местные охотники, а дальше продвигались по компасу. Мы углубились в такую глушь тайги, где, кажется, не бывала человеческая нога. Топограф искал место, которое было бы удобно для заселения, т.-е. местность с речкой и хорошей почвой. Поиски продолжались несколько дней.

На третий день наших блужданий, к вечеру, лошади вдруг остановились и начали фыркать. Чалдоны побледнели и заволновались: фырканье лошадей означало, что они почуяли присутствие медведя. Не успели мы пройти несколько шагов, как увидели смятую траву, где, по об'яснению чалдонов-охотников, лежала медведица с медвежатами и медведь.

— Медведица, когда у ней медвежата,—говорили они,—особенно зла.

Жалкий вид имел наш топограф, вооруженный с ног до головы: он настолько перепугался, что у него стучали зубы. Решено было, как только найдется поблизости вода, дальше не итти, а остановиться ночевать. Между прочим, чалдоны предупредили топографа, чтобы он, если увидим медведя, ни в коем случае не стрелял, так как нужно быть особенно хорошим стрелком, чтобы сразу его убить; если же его только ранить—значит накликать на себя беду.

Мы двинулись дальше в самом тревожном настроении. Мы, политические, составили одну группу, держа топоры наготове. После часа ходьбы волнение наше и напряженность стали постепенно ослабевать. Вдруг раздается крик чалдонов:

— Медведь, медведь!....

В миг наш топограф очутился со своей винтовкой позади всех.

Шагах в 25 от нас, около дерева, стоял громадный черный медведь, совсем непохожий на тех медведей, которых я видел в Париже в зоологическом саду. С одним топором нельзя было и думать о борьбе с ним. Я мысленно прощался со всеми своими родными. С целью прогнать зверя, чалдоны стали ударять топорами один о другой, мы последовали их примеру. Под звук топоров мы издавали какие-то животные крики. Получалась дикая, ужасная музыка. Не помню, как долго продолжалась эта какофония. Медведь поднялся на задние лапы и заревел. Этот рев еще и сейчас звучит у меня в ушах. Медведь простоял так несколько секунд, затем повернулся и ушел.

Несмотря на то, что там, где произошла эта встреча, совсем не оказалось воды, кроме лужи, мы все-таки остановились здесь ночевать. Быстро развели большой костер. Набрали из грязной лужи воды, чтобы хоть немного профильтровать, процедили ее через тряпку, и занялись приготовлением чая и каши. Каждый из нас, несмотря на то, что все это было приготовлено из мутной воды, ел с большим удовольствием. Чалдоны начали рассказывать о разных приклю-

чениях, бывших с ними в тайге. Многое, конечно, тут же сочинялось. Из их рассказов было ясно, что спать в тайге можно только под прикрытием разложенного кольцом костра. Когда мы все разлеглись внутри такого кольца, я долго не мог забыться. Мне все казалось, что медведь опять приближается, а мне не очень-то хотелось умереть так глупо.... Чалдоны же храпели, как ни в чем не бывало. Только к утру я заснул.

Утром мы снова приготовили из той же грязной воды завтрак и, закусив, двинулись в путь. Мошкара и другие насекомые досаждали всю дорогу. Я буквально опух—руки, ноги, все тело были искусаны.

После двухдневной ходьбы подходящее место, наконец, было найдено, и мы принялись за работу. Тут для меня и других политических началось еще худшее. Мы должны были рубить вековые деревья. Каждое дерево было настолько об'емистое, что нужно было рубить его вчетвером. У чалдонов эта работа шла легко и умело, у нас же при большой затрате энергии результаты были плачевные. Вдобавок ко всему этому стояли ужасные жары, надоедала мошкара, мешала на лице сетка. Работали от зари, с перерывом на обед. Во время еды приходилось окуривать себя дымом, раскладывая костры, чтобы хоть немного отбояриться от проклятой мошкары. Так продолжалось несколько дней. Бывало, лежишь ночью в кольце костров и мечтаешь о том, чтобы живым добраться до деревни, где осталась жена и товарищи. «Нет,—думал я,—надо достать денег и бежать, бежать из Сибири, так как все равно умрешь, если не от зубов дикого зверя, то от голодной смерти. Что такое каторга по сравнению с этой жизнью? Чорт с ними! Пускай поймают, пускай опять наденут кандалы». Так назрела у меня мысль бежать при первой же возможности.

Вскоре мы вынуждены были вернуться в деревню, откуда выехали, так как провизия была на исходе. Наша экспедиция, из которой убыл один рабочий (его убило деревом), снова двинулась в путь. Я и Дмитров решили отказаться от работы, на которой в течение последних 2-х недель мы пережили столько мытарств. При расчете мы за всю работу получили лишь по 4 рубля, а все остальное топограф засчитал нам за кашу и грязную водицу. Как мы ни ругались с ним, ничего не помогло, так как мы были «лишены всех прав состояния». Он дошел до такой степени наглости, что заявил, что мы должны были бы доплатить ему за то, что научились рубить деревья.

Получив по 4 рубля, мы, наконец, двинулись в нашу деревню, шагая в день по 30—40 верст. Я чувствовал себя совершенно разбитым. У меня было одно желание—скорее добраться до дому и лечь. Я переночевал в Елани у т. Мещерякова, который сообщил мне, что жена моя страшно беспокоится, так как за все время не получала от меня никаких вестей. Из Елани за 50 коп. я поехал в Подгорново. Жена встретила меня так, как-будто я пришел с того света. Действительно, выглядел я очень скверно, да и температура у меня была

около 40°. Я заболел и слег на несколько дней. В течение этого времени все мои мысли были направлены на обдумывание плана побега. Приближалась зима. Деньги на побег нужны были большие. Я обратился за помощью в Париж—к т. Зиновьеву и в Америку—к одному моему товарищу и брату. А пока что я с другими товарищами принялся готовить дрова к зиме.

Раз в неделю мы получали через почтаря газеты и письма. По поводу прочитанного мы вели в своих товарищеских кружках продолжительные дискуссии.

В это время началась секретная подготовка к губернской конференции политических ссыльных, перед которой стояли вопросы об улучшении быта ссыльных, а также об организации заготовки паспортов для намеревающихся бежать.

Однажды как-то пришел я к старосте. Он спросил меня, не видел ли я Дмитрова, который ему очень нужен. Спрашиваю, в чем дело.

— Видите ли,—сказал он,—я только-что получил бумагу, в которой говорится, что его прошение на высочайшее имя о помиловании отклонено.

Я был поражен: брат известного болгарского революционера, Дмитров, просил помилования у царя!.. Я вспомнил, что в Одесской тюрьме его часто вызывали к начальнику тюрьмы. Просмотрев бумажку, я убедился, что это прошение было подано еще в Одесской тюрьме, после суда.

Я сообщил об этом Григорию Спиридоновичу, и мы решили, собрав политических, об'явить им о том, что я узнал, и порвать с Дмитровым всякую связь. Мы считали, что он позорит нас своим поступком. Я никогда не забуду его выступления на этом собрании: он плакал, как ребенок. Значительная часть политических требовала бойкота его, что равносильно смерти. Я решительно был против этого, так как считал, что, не будучи воспитан в нашей революционной школе, он не понимал, насколько его поступок предосудителен. В итоге—мы исключили его из нашей товарищеской среды.

В 7 верстах от нашей деревни была деревня Чалбышево, где тоже жили ссыльные. Среди них был один удивительно интересный товарищ, Сергей Тамаров—рабочий-слесарь, большевик. В ссылке он научился сапожничать, а в свободное время занимался охотой. Его винтовка находилась у крестьян, так как сам он не имел права держать ее у себя. Однажды утром я пришел к нему. Он показал мне убитого медведя и рассказал следующее.

Один из чалдонов в тайге имеет пасеку. Хозяин стал замечать, что в его ульях часто нехватает меду. Взяв винтовку, он с сыном и собакой пошел на пасеку и залег там в шалаше. Он был уверен, что мед похищает у него вор. Всю ночь чалдон прислушивался к каждому шороху. На рассвете послышался какой-то шум, и залаяла собака. Выбежавшие из шалаша хозяин и его сын увидели медведя, который, быстро поднявшись на задние лапы, подскочил к чалдону и ударом своей громадной лапы свалил и подмял его под себя.

К счастью, собака схватила медведя сзади. Тот бросил человека и убежал.

Еле живой добрался чалдон к себе в деревню. Охотникам было известно, что медведь не бросит своих посещений и каждую ночь будет ходить за медом. Тамаров быстро организовал охоту на медведя: 5 человек крестьян, пробравшись в шалаш, забаррикадировались в нем и стали дожидаться медведя. Рано утром зверь явился на пасеку. Когда он приблизился на расстояние выстрела, охотники дали залп по медведю и убили его наповал.

Перед моими глазами лежали только-что снятая черная шкура и мясо, которое было отдано Тамарову. Я помог ему засолить его, после чего мы устроили обед из медвежатины.

Так-называемых политических среди нас было много, но большею частью это были люди, попавшие в ссылку за экспроприацию или случайно—полууголовный элемент.

В нашей идейной группе большевиков деревни Подгорново царила дружная товарищеская атмосфера. Григорий Спиридонович Вейнбаум являлся душой нашей группы. Я виделся с ним ежедневно. Мы часто просиживали целыми часами вместе и беседовали. Он хорошо владел французским языком, очень любил философию. Он писал статьи, которые посылал в Болгарию т.т. Благоеву или Дмитрову для журнала, издаваемого ими в Софии. Были ли они напечатаны—не знаю, но, как мне помнится, статьи были прекрасно написаны.

Мне хотелось бы остановиться на интересной личности Григория Спиридоновича (он был расстрелян Колчаком в Красноярске). По происхождению он был еврей. Отец его принял крещение и вскоре получил дворянское звание—он был чиновником особых поручений у Щегловитова. Сам Григорий Спиридонович был студент-филолог. Он был небольшого роста, с круглым матовым лицом, на котором особенно выделялись его большие черные глаза. Во всей его маленькой фигуре чувствовались громадная сила и энергия. По природе он был прекрасным оратором. Каждые две-три недели у нас читались доклады, и душой всех устраиваемых дискуссий был т. Вейнбаум. Получая помощь от отца, он жил лучше всех. Однажды, придя к нему, я нашел его сильно взволнованным. Он показывает мне полученное от отца письмо, в котором тот сообщал, что Щегловитов обещал все сделать, чтобы царь помиловал его сына, если последний подаст прошение о помиловании. И старик ставил ему ультиматум: если он не напишет прошения царю, то он, отец, от него отрекается и больше не будет присылать денег.

Прочитав письмо, я спросил:

— Что же вы думаете делать, Григорий Спиридонович?

Вейнбаум показал мне написанный уже ответ, в котором он в резкой форме сообщал отцу, что он отказывается от всякой его помощи, ибо считает ниже своего достоинства продолжать дальнейшую переписку с таким человеком, который называет себя отцом и предлагает своему сыну такие мерзости.

Отец лишил его своей поддержки, но дядя, узнав об этом, добровольно вызвался помогать т. Вейнбауму.

Приблизительно в феврале в Елани была назначена конференция политических ссыльных от нескольких волостей. На общем собрании наших политических делегатами на эту конференцию были избраны Григорий Спиридонович, я и кто-то третий. Разумеется, конференция носила конспиративный характер. На ней разбирались дела только местного характера, а также вопросы о приобретении нелегальной литературы и об организации помощи политическим ссыльным. Председательствовал Вейнбаум, который в течение трех дней прекрасно руководил конференцией. По окончании ее мы были сфотографированы одним из наших товарищей. Когда смотришь теперь на эту группу, то многих уже не находишь в живых: Виктор Зеленский, плехановец, погиб добровольцем на французском фронте, Сергей Тамаров расстрелян Колчаком в Енисейске, Вейнбаум расстрелян им же, а о ряде товарищей не имеется никаких сведений.

Вскоре я получил письмо от т. Зиновьева, в котором он писал, чтобы я не беспокоился, ибо все будет сделано. Я очень обрадовался, так как понял, что скоро буду иметь средства для побега. На ряду с этой радостью меня угнетало и останавливало то, что жена моя была беременна. Я знал, что мой побег может окончиться трагически не только для меня, но и для моего друга и для того маленького человека, который вскоре увидит свет...

Время родов приближалось. В виду полного отсутствия в нашей деревушке медицинской помощи, пришлось на время родов перевезти жену в Елань, где был врач. Так как я сам по закону не мог выехать из деревни, то один из моих товарищей, латыш Гейдан, взялся отвезти ее. 22 марта при 30° морозе они выехали; ночью началась вьюга. Проплутав всю ночь, они с трудом добрались до Елани. Доктора не оказалось дома, пришлось пригласить старую бабку. После долгих мучений родилась девочка, которой я дал имя Мая—в честь весеннего месяца мая.

Мой побег.

В апреле я получил 100 рублей из-за границы от Надежды Константиновны Ульяновой (Крупской) и еще 50 руб. от моего брата, жившего тогда в Америке. Григорий Спиридонович и жена моя настаивали на немедленном побеге, так как иначе деньги разойдутся и я не сумею бежать. Организовать побег взялся Григорий Спиридонович и Сергей Тамаров.

В конце мая все необходимое к моему побегу было уже приготовлено. Я получил приличный костюм и паспорт инженера. В один из майских вечеров, крепко расцеловавшись с Григорием Спиридоновичем и с женой, я медленным шагом, будто гуляя, направился в деревню Челбышево к Тамарову, который пригото-

вил там для меня лошадь. С женой и Григорием Спиридоновичем я условился, что если обо мне будут спрашивать сотские или чалдоны, они должны сказать, что я ушел на охоту в тайгу с товарищами. Такие самовольные отлучки обычно карались каталажкой, но, несмотря на это, случаи ухода в тайгу месяца на полтора—два были не редки. Мне казалось, что я лично буду вне подозрения, так как у меня родился ребенок, а таких людей все считали уже привязанными к месту.

До Челбышева пришлось итти около 8 верст. Меня окружала тайга. Одна мысль все время сверлила мозг,—мысль о возможности провала. Лошадь уже была готова. Наш путь простирался до Бельской волости, лежавшей верстах в 50-ти. Выехали мы с Тамаровым ночью. Всю дорогу у нас с ним не прекращался самый задушевный разговор. Тамаров завидовал, что я, пробыв в ссылке только один год, бегу, а он этого сделать не может, хотя и пробыл в ссылке уже более 6 лет.

— Одно я тебе скажу, Володя,—говорил он,—до Красноярска ты доедешь свободно, но в Красноярске будь осторожен. Шпики нас там узнают по носу и могут схватить тебя. Я тебе советую брать билет ближе Челябинска (и назвал мне станцию, которой я сейчас не помню). Шпики обыкновенно допускают доехать до Челябинска с тем, чтобы там арестовать. Они делают это сознательно, так как если арестовывают в пределах Сибири, то беглецу полагается лишь несколько месяцев тюрьмы, если же за пределами Сибири,—то обычно дают 3 года каторги. Многие товарищи попались как-раз в Челябинске и получили по нескольку лет каторги.

Мы настолько увлеклись разговором, что и не заметили, как прошла ночь и мы приблизились к Бельскому. На горизонте уже виднелся купол церкви и деревянные домишки. Там нужно было быть крайне осторожным, так как там жил пристав и жандармы.

Вдруг Тамаров шепнул мне:

— Скорей в лес. Кажется, идет пристав...

Я быстро соскочил и спрятался в лесу за деревьями. Тамаров успел мне крикнуть: «Я за тобой приду»,—и поехал дальше.

Скрытый кустами, я напряженно смотрел на дорогу, по которой должен был пройти пристав. Послышался лошадиный топот с той стороны, откуда мы выехали, и скоро показались несколько верховых жандармов, которые остановились как-раз против тех кустов, где я стоял, и начали что-то искать.

Следя сквозь чащу кустов за ними, я старался уяснить себе, откуда они приехали. Неужели это погоня за мной? Я уже предполагал, что Тамаров арестован и что у него найден мой паспорт, который он взял с собой.

Но вот жандармы сели на лошадей и поехали дальше. Подождав несколько минут, я быстро выскочил из-за своей засады и почти бегом направился в деревню. Меня душила досада за первые неудачные попытки побега. Бежал я, наверное, не больше часа, хотя расстояние до деревни было 10 верст. Встретив там товарищей,

я рассказал им про все случившееся и просил узнать, что сталось с Тамаровым. Напившись чаю, я, утомленный после бессонной ночи, быстро заснул.

Проснулся я от сильного толчка. Передо мной стояли Тамаров и другие товарищи и, глядя на меня, хохотали.

Оказалось, что никаких жандармов не было, как не было и пристава, за которого Тамаров принял проходившего чалдона. Тамаров рассказал, что через 10 минут он вернулся обратно к тому месту, где я спрятался в кусты, звал меня, но, не получив ответа, проехал в Бельское, оставил там лошадь и, взяв с собой товарища и собаку, отправился искать меня по тайге, так как был уверен, что я заблудился. Искал он меня больше 2-х часов, конечно, безрезультатно.

— Я,—говорил он,—страшно беспокоился за тебя, так как не знал, какой ответ дать твоей жене, если она спросит, как я довез тебя до Бельского...

Около восьми часов вечера мы направились в Бельское. Тамаров нашел для меня почтового ямщика, который, хотя и знал, что везет политического, но должен был следующему ямщику сказать, что везет инженера по делам службы в г. Красноярск. Этот старик в молодости попал в ссылку по уголовному делу, но нам сочувствовал.

Рано утром к дому под'ехала прекрасная пара почтовых лошадей, запряженных в карету, и я, быстро распрощавшись с товарищами и крепко пожав руку Тамарову, отправился в путь. Проехав 25 верст, мы остановились у другого почтового ямщика, который по моему приказанию сейчас же запряг лошадей. Он предложил мне напиться чаю, но я наотрез отказался, заявив самым серьезным образом, что мне нужно торопиться, так как в Красноярске меня ждут.

Так я беспрерывно ехал в течение нескольких суток. Под'езжая днем к какому-нибудь селу, ямщик «для форсу» бойко разгонял лошадей, отчего малиновый звон бубенцов разносился далеко-далеко. На этот звон нередко выходил сам пристав, козыряя передо мной и думая, что перед ним важный царский чиновник, которому не мешает отдать честь. В душе я хохотал над этими глупцами.

Тракт до Красноярска был удивительно хороший, и сибирские лошадки несли меня во-всю. Через несколько суток я прибыл в Красноярск и остановился в хорошей гостинице.

С хозяевами я держался строго и официально. Потребовал свежей воды, почистился и хорошо поужинал. Не успел я лечь, как хозяин потребовал от меня паспорт, «так как,—заявил он,—у нас насчет этого строго, много ссыльных бегут. Очень извиняюсь, что побеспокоил вас, но такова наша служба. Все равно я вас должен был бы разбудить утром, так как поезд на Челябинск уходит в 9 часов утра». Отдав паспорт, я заснул, как убитый, так как не спал несколько ночей. Утром меня разбудили. Принесли кофе, хлеб с маслом и счет.

Скоро под'ехал извозчик, и я направился на вокзал. На вокзале я отдал носильщику свой чемодан и, подойдя к кассе, спросил билет до Одессы. В Одессу, где меня хорошо знали, я ехал потому, что только здесь с помощью родных и товарищей мог надеяться достать средства для дальнейшей поездки за границу.

Взяв билет, я быстро сел в вагон. Мне все казалось, что меня окружают шпики и следят за каждым моим движением. Когда, наконец, поезд двинулся, мне не верилось, что я еду. Я ехал в вагоне 3 класса, где пассажиров было немного. Напротив меня сидели 2 железнодорожника; один из них был машинист лет 50, другой—молодой.

В пути среди пассажиров зашел разговор об усмирении железнодорожников по Красноярской линии в 1905 году генералом Меллер-Закомельским. Машинист рассказывал подробности расстрела железнодорожников казаками, передавал, как он был арестован и приговорен полевым судом к расстрелу, а потом был спасен каким-то военным. В виде иллюстрации к своему рассказу машинист показал свой обвинительный акт. В его рассказе чуялась мне «ловушка»,—будто машинист пробует изловить меня.

Между тем поезд приближался к Челябинску, где мне нужно было 2 часа ждать другого поезда. Зная, что я еду в Одессу, машинист предложил мне не расставаться друг с другом в Челябинске, так как вдвоем удобнее получить плацкарту: один может пойти за плацкартой, другой—сторожить вещи.

Внешне я был спокоен, но внутренне волновался. Мне казалось, что меня сознательно выпустили из Красноярска с тем, чтобы схватить в Челябинске. Когда мы вышли из вагона, спутник очень тепло поздоровался с жандармом. У меня сердце дрогнуло. Вот он вместе с жандармом подходит ко мне и знакомит нас:

— Позвольте познакомить с моим другом,—говорит он жандарму, указывая на меня.

Я подаю жандарму руку, ничего не понимая, что здесь происходит.

— Вот что, господа,—говорит жандарм,—я вам сам возьму плацкарты, а вы не уходите от своих вещей, так как здесь много воров.

Как только он отошел, машинист, видя мое удивление, говорит мне:

— Какая находка, он служил у нас на станции «Красноярск». Теперь он все сделает нам.

Те два часа, которые пришлось ждать на вокзале, показались мне годами. Когда поезд, которого мы ждали, подошел к перрону, жандарм подал нам плацкарты, усадил нас в вагон, предостерегая от воров, и мы двинулись в путь.

Все время чувствовалось, что машинист относится ко мне с какой-то особой симпатией. Он приносил мне чай, покупал с'естное, не брал истраченные на меня деньги. Перед Уфой он шепнул мне, что ему нужно поговорить со мной, и просил выйти за ним на площадку.

— Вот что, товарищ,—сказал он.—Я знаю, кто вы. Мне не нужна ваша фамилия. У меня есть к вам просьба. У моей жены был брат, который нелегально уехал за границу и там умер. После него остался пожизненный паспорт, который можно использовать. Кто бы ни жил по паспорту, жена моя всегда может сказать, что это ее брат. Вы только дайте адрес, и по вашему требованию я пришлю его.

У меня опять явилось подозрение.

— Я не тот, за кого вы меня принимаете, вы ошибаетесь,— сказал я.

Мой спутник, со слезами на глазах, дрожащим голосом проговорил:

— Вы мне не верите?

Видя это, я записал его адрес.

— Это не все,—продолжал он,—у меня есть к вам еще другая просьба.

Он вынул 20 рублей и дает их мне:

— Они вам пригодятся.

Как я ни отказывался—ничто не помогало, и мне пришлось взять деньги.

— Как вы узнали, что я беглый из ссылки политический?—задал я ему вопрос.

— Вашего брата можно узнать. Я много лет живу в Красноярске, служу старшим машинистом. Имею свой домик. Часто встречаюсь с политическими. Сам пережил смертный приговор.

Что касается предложенного им паспорта, то мне помнится, что по приезде в Париж я сообщил об этом секретарю нашей экспедиции—«Алексею», который направил в Швейцарию к Н. К. Крупской мое письмо с подробным адресом машиниста для использования его паспорта.

В Уфе мы тепло простились и расстались.

Под'езжая к Одессе, я невольно вспомнил, как год тому назад ехал этой же дорогой в кандалах, в арестантском халате. Опять начались внутренние волнения: удастся ли мне благополучно проскочить через вокзал? Мне так не хотелось провалиться здесь в Одессе, когда я проехал уже такой длинный путь... Ни один из родственников, ни один из товарищей не был предупрежден о моем побеге. Передо мной встал вопрос,—куда мне заехать. Остановиться у родных было опасно, и я решил заехать к одному беспартийному товарищу,—он и жена его меня хорошо знали. Он жил вне всякого подозрения на даче «Прокудино». Другого выбора у меня не было. На вокзале я быстро слился с толпой и благополучно добрался до извозчика. Все мне казалось новым— улицы, дома, люди, трамваи...

Дача «Прокудино» находилась на берегу моря.

На мой звонок дверь открыла прислуга и сказала, что самого хозяина дома нет, но есть его жена. Я попросил сказать хозяйке, что к ней приехал ее родственник. Та в это время купала ребенка.

— Аннушка, не узнаешь?—сказал я, видя, что хозяйка сердито и с изумлением смотрит на меня...

Она бросилась мне на шею, стала целовать, истерически плача:

— Володя, неужели это ты?..

Она никак не могла себе представить, что я могу быть когда-нибудь в Одессе. Все думали, что ссылка в Сибирь это то же, что кладбище, откуда никто не возвращается.

На другой день я узнал, что оставаться долго на этой даче нельзя, так как здесь часто происходят обыски, и мои друзья устроили меня на Андреевском лимане.

Через своего товарища, наборщика Фетисова, который работал в «Одесских Новостях», я обратился к Орловскому, чтобы тот достал мне денег для поездки за границу. Орловский обещал достать денег с тем, чтобы я на другой же день выехал из Одессы. К несчастью, Орловский был арестован. Других связей у меня не было. Оставалась еще надежда на брата. Несколько недель пришлось мне ждать, покуда брат сумел достать мне денег и устроить нелегальный переход через румынскую границу.

Путь мой в Париж был организован через Бессарабию и Румынию. Я имел письмо, которое должен был передать товарищу, жившему в Бессарабии, в местечке «Лево»,—и он должен был помочь мне переправиться через Дунай. Пролетарская еврейская семья, куда я попал в местечке «Лево», приняла меня очень тепло, но дальнейшая поездка оказалась не такой легкой, какой я себе представлял; хозяева сообщили мне, что переезд за границу очень труден.

Через несколько дней вечером меня отправили, наконец, в деревню, расположенную на берегу Дуная, другой берег которого был уже румынский. Мы договорились с перевозчиком, что он получит деньги за мою переправу от лица, организовавшего мой переход через границу, только тогда, когда принесет от меня условленный знак, который послужит доказательством, что перевоз прошел благополучно. Этим условным знаком была пуговица. Переправа должна была совершиться этой же ночью. Но ночь оказалась светлой, переправляться было очень опасно, и крестьянин знаками об'яснил мне, что не повезет меня.

На следующую ночь мы переправились через Дунай при помощи снопа. Такой способ переправы сам по себе был очень рискованным, не говоря уже о том, что дозор ежеминутно мог заметить нас и открыть огонь. За те несколько минут, которые мы плыли, я пережил столько, сколько не пережил в течение многих лет... Однако, доехали мы благополучно, и, высадив меня на берег, перевозчик таким же порядком отправился обратно за моими вещами.

Я думал, что уже совсем свободен, но, к моему удивлению, крестьянин взял мои вещи и бросился бежать,—я за ним. Так мы бежали около 3-х верст. Я не понимал, почему нужно было здесь, в Румынии, скрываться. Добежали мы до одной речки, на про-

Члены конференции ссыльных Еланской и Бельской волостей Енисейского уезда в 1912 году.

В. Деготь, Бальбатов, Вейнбаум, Зеленский, Грансберг (стоят), Грингоф, Тамаров, Гордеев (сидят).

тивоположном берегу которой была какая-то деревня. Мой проводник посадил меня в заросль кукурузы, а сам переплыл реку и направился в деревню. Скоро я увидел его идущим обратно с каким-то мужиком, с которым он и подплыл ко мне уже на лодке. Передав меня этому мужику, перевозчик взял условный знак и удалился.

Новый мой проводник тоже ничего не понимал по-русски. Он переправил меня на румынский берег и повел к себе в избу. Его жена указала мне на постель, предлагая отдохнуть, но я отказался, так как хотел скорей сесть в поезд. Я начал просить их, чтобы они отвели меня на вокзал. Мужик отказывался, что-то говорил мне, часто употребляя слово—«жандарм, жандарм». Я понял, что ехать на вокзал сейчас опасно. В конце-концов он согласился везти меня куда-то. Он запряг лошадей в громадную фуру, навалил туда соломы и велел мне лечь. Сверху он также навалил на меня соломы, под которой я чуть не задохнулся.

Ехали мы несколько часов, пока не остановились у какой-то еврейской лавчонки. Мужик сбросил солому и помог мне выбраться оттуда. Увидя меня, евреи испугались, но когда я заговорил с ними по-еврейски, они успокоились. Еврей, узнав, в чем дело, сказал, что выбраться отсюда нелегко, так как часты случаи, когда румынские жандармы выдают попавшихся русским жандармам.

Город, в котором я очутился, был маленький, захолустный. Всякое новое лицо в нем было заметно. Показаться на вокзале было опасно, так как жандармы могли сразу арестовать. Мне купили билет до одного крупного города при австрийской границе и на лошадях подвезли к соседней станции, где я и сел в поезд.

Паспорт у меня был обыкновенный—годовой. Я совсем не знал, что для перехода через румынскую границу требовался специальный паспорт с визами румынских властей. Перед австрийской границей в поезд вошли румынские жандармы и начали отбирать у пассажиров паспорта. Когда я показал мой паспорт, они были крайне удивлены, как я сумел попасть по такому паспорту в Румынию. Видя, что я не понимаю по-румынски, один из них обратился ко мне на французском языке со словами:

— Вы должны сойти. Возьмите свои вещи. Вы арестованы, так как вы не имеете паспорта.

Я вышел из вагона, и поезд ушел. Дежурный офицер спросил меня, кто я и почему приехал нелегально в Румынию. Я ответил ему, что я дезертир, боясь сказать, что—политический. На это он мне вежливо сказал, что завтра меня отправят обратно в Россию, т.-е. выдадут русским жандармам. Я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги: я уже видел себя в русской тюрьме, в одиночной камере... Однако, все обошлось благополучно. Откуда-то появившийся русский посоветовал мне предложить румынскому жандарму 20 франков за позволение ехать дальше. Мне как-то не верилось, что офицеру, украшенному орденами и золотыми нашивками, можно было предложить 20 франков. С краской на лице

я предложил ему деньги, которые он спокойно взял и сказал, что со следующим поездом я могу продолжать свой путь.

Через несколько часов я сидел в поезде, который быстро мчал меня к австрийской границе. На границе ко мне подошел начальник жандармерии, одетый в штатское платье, и потребовал паспорт. Когда я показал ему свой паспорт, он закричал:

— Как вы смели к нам приехать с таким паспортом?

Я попробовал об'яснить ему, что еду в Париж и что ему должно быть все равно, так как я здесь не останусь. Но он продолжал кричать:

— Завтра же утром я отправлю вас в Россию. Мы знаем, что сюда приезжают все анархисты-революционеры!

Меня арестовали. Утром снова предстал передо мной жандарм с тем же криком. Тогда я решительно стал протестовать против моей отправки в Россию, говоря, что так как я приехал из Румынии, то меня должны туда и отправить. Я хотел выиграть время, думая, что в Румынии мне, может быть, удастся откупиться и найти другой путь во Францию.

— Хорошо,—сказал он,—я отправлю вас туда, откуда вы приехали.

К вечеру я опять был в Румынии, в той же комнате и перед тем же офицером, который взял у меня 20 франков. Когда меня ввели к нему, я увидел какого-то штатского человека, перед которым офицер держался «в струнку». Он по-румынски доложил, кто я и почему здесь. При его докладе штатский все время пристально смотрел на меня. Затем он заговорил со мной по-французски. Он старался успокоить меня, обещая не выдавать России и сделать все, чтобы я мог спокойно доехать до Парижа, и предложил мне переночевать в гостинице или в жандармских казармах. Я последовал его совету и отправился в казармы, где все отнеслись ко мне очень внимательно и заботливо.

Около 10 часов утра меня разбудил жандарм и сообщил, что полковник ждет меня на вокзале, в вагоне I класса. На вокзале я нашел полковника с каким-то господином. За стаканом кофе он сообщил мне, что в 2 часа я могу ехать, что он едет со мной лично, чтобы там переговорить с австрийским шефом и устроить мою дальнейшую поездку во Францию. Он просил меня быть на вокзале к 12 часам.

К назначенному часу я был на вокзале, где в зале I класса увидал моего полковника с его женой и какими-то дамами и штатскими господами. Стол был накрыт для обеда.

За обедом полковник обратился ко мне с вопросом, как мне жилось в Сибири?

— Почему вы думаете, что я из Сибири?—изумился я.

— Странно,—проговорил он,—с вашей стороны думать, что мы, румыны, можем выдать русских политических. Вы наверное знаете, как мы поступили с матросами, восставшими на «Потемкине». Мы ни одного из них не выдали русскому правительству, только

броненосец был возвращен обратно. А в вас я сразу узнал не дезертира, а русского революционера.

Я почувствовал, что все это спрашивается без всяких задних мыслей, из любопытства, и рассказал ему, как жил в Сибири. Особенно изумились женщины, когда узнали, что я оставил в Сибири жену с маленьким ребенком.

Полковник оказался очень интеллигентным человеком, хорошо знавшим нашу русскую литературу, любил Горького и Толстого.

В 2 часа прибыл поезд; мы с полковником сели в вагон и покатили.

В дороге полковник неожиданно предложил мне 200 франков. Я решительно отказался их взять. Полковник обиделся и высказал предположение, что я не беру у него деньги потому, что он жандармский офицер. Я поблагодарил его за то, что он уже сделал для меня, и об'яснил, что у меня в Париже есть друзья, а до Парижа денег у меня хватит.

— Тогда дайте мне слово,—сказал он,—написать мне, когда вы благополучно доберетесь до Парижа и когда жена ваша проберется к вам. Я знаю, что переписку со мной вы вести не будете, так как я андармский полковник.

Я обещал ему написать и слово свое исполнил. Очень жалею, что забыл его фамилию и название той пограничной станции, где мы с ним встретились.

В дальнейшем я благополучно добрался до Берлина, а оттуда— в Париж.

В эмиграции.

В Париже я отправился на Габлен, где находилась русская библиотека. Путь мой продолжался около часа. В вагоне, переполненном французами и француженками, шумно болтавшими между собой, я почувствовал себя так хорошо, что мне хотелось от радости плясать. Я знал, что я свободен, нахожусь в том городе, где находятся тысячи-тысячи русских политических, среди которых скоро увижу друзей...

Библиотека находилась во дворе. Я поднялся по узкой и грязной лестнице в большую комнату, которая была наполнена читавшей и мирно разговаривавшей между собой публикой. С какой радостью я услышал, наконец, русскую речь! Первым, кого я встретил из большевиков, был товарищ по прозванию «Исаак Косой». Мирон—библиотекарь, хотя и был тогда меньшевиком, встретил меня удивительно хорошо. Товарищи, прежде всего, временно устроили меня на квартире.

На другой день я отправился к тов. Каменеву, который оставался в Париже. Ильич и Зиновьев жили тогда в Швейцарии. От Каменева я узнал, что́ делается в партии. Вместе с ним мы отправились к товарищу Николаю Васильевичу Кузнецову (Сапожкову), секретарю заграничного бюро ЦК. Он встретил меня просто, по-

товарищески. Он был москвич, интеллигент; жил переводами и разного рода перепиской.

На следующий день меня пригласили на заседание секции, которое происходило в том же кафе «Д'Орлеан», д. № 11, где собирались и раньше. Собралось около 40 человек. Вопросы, которые там разбирались, мне были мало знакомы. Все принципиальные вопросы, выдвигаемые партией, обсуждались в секции. Из видных партийных работников здесь были Каменев, Владимирский, Антонов, Николай Васильевич (Кузнецов).

Материальная нужда, за исключением отдельных лиц, чувствовалась почти у всех товарищей. Особенно трудно жилось интеллигентам, не знавшим никакого ремесла. Большинство из них мыли стекла в парижских магазинах, получая за это 2 франка в день. Я начал искать работу по своей специальности. Один из моих товарищей по профессии, Гриша Левицкий, имел мастерскую, где изготовлялись художественные переплеты для книг. Он тотчас же принял меня на работу. Надо сказать, что я в своей жизни никогда уже больше не видел таких роскошных переплетов, какие выходили из этой мастерской. Стоили они по 1.000 франков. Ежегодно он выставлял их на выставке в «Салоне». Я очень любил переплетное ремесло, особенно, когда к нему относились, как к искусству. Однако, проработав у него несколько дней, я почувствовал, что это не товарищ, а хозяин, который стремится выжать последние соки из своих рабочих.

Как только мне удалось устроиться в отношении работы и квартиры, я стал думать о том, как бы вырвать из Сибири жену и ребенка. Через нашего секретаря секции я получил для этого от Н. К. Крупской 200 франков. Вскоре я получил от жены письмо, в котором она сообщала, что находится в Одессе. Я был, конечно, очень рад, что она находилась вне опасности. Но как это все случилось и как ей удалось пробраться в Одессу, я никак не мог понять. Только потом я узнал, что мой побег не вызвал никаких подозрений: все были уверены, что я ушел на охоту. Получив после моего побега еще денег, она решила уехать, заявив своим хозяевам, что едет в Енисейск за покупками. Так как жена была вполне свободной, то она могла, никого не спрашивая, без разрешения ехать, куда хотела. Приехав в Енисейск, она села на пароход и благополучно доехала до Красноярска и оттуда—до Одессы.

Постепенно я начал привыкать к парижской жизни. Все больше и больше стал знакомиться с нелегальной литературой. Самое отвратительное впечатление произвела на меня брошюра Мартова, направленная против нас. Каждая строка была пропитана грязью и ложью, вся она пестрела выражениями—«экспроприаторы», «бандиты», «провокаторы». С ответом Мартову выступил т. Каменев в своей книге под заглавием (если не ошибаюсь) «Две партии». Язык этой книги, довольно резкий, мне не понравился, но, живя в эмигрантской среде и видя, как ведут себя меньшевики, я понял, что иначе писать было нельзя. Так-называемые «левые большевики»

выпускали под редакцией «Безработного» (Мануильского) и Алексинского журнальчик под названием «Вперед». Даже наш враги меньшевики не писали того, что писали эти двое в своем журнале против Ленина.

Выходившая тогда в России газета «Правда» имела для нас громадное духовное значение. Мы ее энергично распространяли. С меньшевиками у нас велась резкая полемика. Местом, где мы встречались с нашими противниками, была эмигрантская столовая, в которой за 75 сантимов можно было пообедать или поужинать. Многие из эмигрантов, если не имели и этой суммы, получали здесь довольствие бесплатно. В столовой продавались «Правда» и меньшевистская газета «Луч». Каждая статья читалась тут же в столовой и большею частью вызывала дискуссию.

Особенно горячее участие в дискуссии с меньшевиками принимал тогда прибывший незадолго перед тем из ссылки Гриша Беленький. В то время он был секретарем секции. Он жил только идеей, буквально забывая о материальных потребностях жизни и не обращая на себя никакого внимания. Для него, казалось, было все равно— плохо или хорошо он был одет, сыт или голоден. Он представлял собою комок нервов, —наследие царских тюрем. Продавая в столовой газету «Правда», он все время спорил со своими врагами. Через несколько минут вы могли уже видеть его в районе «Бастилия», где жили исключительно еврейские рабочие. Там он выступал по различным вопросам. Кроме того, он руководил секцией и вел переписку о работе с тов. Лениным и другими товарищами. Жил он на той же улице, на какой помещалась столовая, вместе с другими товарищами, в грязной каморке, где приходилось спать на полу. Беленький был одним из тех революционеров-нигилистов, которые встречались, как исключение. К нему относились с большим уважением не только товарищи, но и противники.

Через несколько месяцев ко мне приехала жена с ребенком. В это время я был уже без работы. «Товарищ» мой, у которого я работал, видя, что я начинаю работать лучше его, и боясь, что я раскрою его секреты производства художественных рисунков на переплетах, рассчитал меня. Секрет его «художественного» творчества был удивительно своеобразен: в небольшой бассейн воды бросались специальные химические краски, которые, распускаясь, давали причудливые комбинации тонов, которые и отпечатывались на прикладываемом к воде листе бумаги. На переплете получались потом замечательно красивые эскизы.

После длительных поисков мне удалось найти работу в кооперативе «Унион», где большинство рабочих состояло из эмигрантов. Позднее «Унион» выродился в обыкновенное частное предприятие, где безбожно эксплоатировались наемные работники. Когда я поступил, в кооперативе почти совсем не было работы, так что первое время мне приходилось искать заказы..

Первыми клиентами, давшими мне работу, были т.т. Луначарский, Каменев и др. Жили они тогда в одном доме,—Каменев в пер-

вом этаже, Луначарский на втором,—но никогда между собой не разговаривали, так как были политическими противниками. Надо сказать, что Луначарский, когда мне приходилось к нему обращаться за помощью при организации концерта в пользу партии или эмигрантов, всегда охотно шел навстречу и помогал, чем мог. Благодаря ему, недалеко от того места, где он жил, в парке «Монсури», отличавшемся красивой природой, была организована школа для детей политических эмигрантов, которая просуществовала вплоть до революции.

Дом, где я жил, был заселен почти исключительно эмигрантами. Среди них была т. Инесса и депутат второй Думы—рабочий Шпагин.

В конце 1913 года (если не ошибаюсь) приехал в Париж тов. Ленин и остановился у Инессы. Он прочел один или два доклада в секции. В последний вечер перед от'ездом в Швейцарию, куда он очень спешил на какую-то конференцию, он читал доклад по национальному вопросу. Публики было много. Ильич говорил около двух часов. Во время доклада записалось много оппонентов, главным образом—бундовцы и поляки. Но, окончив свой доклад, Ильич собрался уезжать. Как ни просили его остаться и выслушать возражения, он заявил, что ему некогда, и поспешил на вокзал. Дискуссия продолжалась без Ильича. Меньшевики были крайне возмущены «некорректностью» ухода Ленина.

Вскоре уехал от нас и т. Каменев, и секция наша осталась без лидера. Мы знали, что Ильич, Зиновьев и весь ЦК перебрались ближе к России, чтобы лучше руководить работой.

Помнится, в начале 1914 года мы получили известие, что депутат Государственной Думы Малиновский, лидер фракции большевиков (оказавшийся потом провокатором), приезжает к нам вместе с Ильичем для доклада. Доклад происходил открыто в большом зале. Малиновский дельно критиковал депутатов-меньшевиков, во главе которых стоял тогда Чхеидзе. Большинство собравшихся было настроено против большевиков, а потому его часто прерывали. Выступавших против Малиновского оказалось очень много. Когда Малиновский взял слово для ответа оппонентам, в публике раздались крики: «Ленина, Ленина!». Ленин в это время был тут и сидел в первом ряду вместе с другими товарищами. Больше $^1/_4$ часа продолжались эти крики, но Ленин не двигался с места и не выступил.

На следующий день было устроено закрытое совещание с некоторыми отдельными товарищами, среди которых были Малиновский, Гопнер (Наташа), Гриша Беленький, Николай Васильевич Кузнецов и др. Малиновский сделал доклад о положении партийной работы в Питере и о работе ЦК в России вообще. Очень хорошо помню его рябое, отталкивающее лицо. Весь его доклад мне определенно не понравился, о чем я и говорил Наташе, идя с ней потом домой. Позднее, когда Малиновский вдруг сложил свои депутатские полномочия, со стороны меньшевиков раздались обвинения его в провокаторстве. Я в душе был почему-то

уверен, что они правы, но выступал, как и другие, в защиту его, так как думал, что эти нападки, не подтверждаемые данными, нужны были меньшевикам для того, чтобы дискредитировать нашу партию.

В это время я уже работал не в кооперативе, а у себя дома, самостоятельно изготовляя художественные переплеты, которые не требовали много сил и давали хороший заработок. Я интересовался тогда французским рабочим движением, посещал митинги и собрания. Из того, что я видел и слышал, мне было ясно, как невелико было влияние в рабочей среде социалистической партии и синдикалистов, которые руководили профессиональным движением Франции.

Редко приходилось встречать рабочего или работницу, читающих социалистические газеты.

Особенно бросалась в глаза слабость влияния синдикалистов и партии в день 1 мая. Громовые статьи и листовка, вышедшие накануне этого дня, призывали рабочих к всеобщей забастовке, к солидарности с мировым пролетариатом. Казалось, день 1 мая неминуемо ознаменуется забастовками, грандиозными демонстрациями. Но наступил день пролетарского праздника—и почти все фабрики работали.

Ярко помню один момент из жизни в Париже, связанный с приездом Плеханова и его докладом «Об искусстве». Я еще не видел Плеханова, а потому с большим удовольствием пошел на его доклад. Во время доклада я стал совсем близко к трибуне и мысленно сравнивал докладчика с Лениным, в каждом жесте которого чувствовалось прямое отражение русской действительности; каждое слово его дышало русской простотой. Плеханов же по внешнему виду был похож на французского банкира. Он был хорошо одет. По его речи можно было подумать, что это говорит не русский, а иностранец на русском языке,—в каждом его жесте и манере держаться сквозило влияние европейской цивилизации. Весь его доклад был дельно и в то же время красиво построен. По окончании доклада все с большим вниманием слушали возражения Луначарского, как знатока этого вопроса. Возражения его были очень осторожны и вежливы, ибо он считался учеником Плеханова. Плеханов в своем заключительном слове очень грубо и резко ответил Луначарскому. Его заключительное слово можно было принять скорее за отклик на задетое самолюбие, чем за ответ по существу затронутого вопроса. Я ушел с собрания разочарованным. Я очень любил читать книги Плеханова, но его выступление против Луначарского не было достойно вождя русской марксистской школы. Когда Ильич выступал против своих противников, он, возможно, бывал еще более резок, чем Плеханов, но всегда имел в виду дело и революцию, а не личность. У Плеханова, наоборот, чувствовалось, что «раз я, Плеханов, говорю так, не смей возражать мне».

Мировая война.

До об'явления войны 1914 года жизнь наша шла спокойно и ровно: устраивались концерты в пользу тех или иных революционных организаций, доклады или дискуссии по различным вопросам и т. п. Когда была об'явлена война, в жизни нашей эмиграции, в частности, и моей, наступил резкий перелом. Как только стало известно, что мировая бойня неизбежна, эмиграция заволновалась. Почти ежедневно устраивались собрания, на которых дебатировался вопрос о той позиции, какую мы, русские, должны занять во время войны. Ни у одного из наших товарищей не было мысли о возможности измены со стороны французской партии и всего II Интернационала делу международной солидарности рабочего класса. Была об'явлена мобилизация, начались патриотические демонстрации с лозунгами «в Берлин». Вскоре вождь французской социалистической партии Жорес пал от руки агента французско-русского правительства.

Перед об'явлением войны Густав Эрве, впоследствии шовинист, а также сотрудники многих левых изданий печатали статьи против войны с подробным описанием всех ужасов и бедствий, которые она повлечет за собой.

Но как только была об'явлена мобилизация и убит Жорес, партия созвала всех членов, и секретарь ЦК Дюбрейль провозгласил лозунг «защиты отечества», «долга перед родиной». Речь его ярко показала, насколько эти люди не имели ничего общего с пролетариатом. В 24 часа они позорно изменили ему, когда нужно было решительно действовать против всей буржуазии.

Париж из живого, веселого города стал мрачным. Люди сразу изменились. Не было, кажется, ни одного мужчины (кроме стариков и калек), которого бы не забрали на фронт. Консьержки с презрением открыто бранили тех, кто не пошел в армию,—а это касалось, главным образом, наших политических эмигрантов. Буквально нельзя было пройти и десяти шагов, чтобы не быть остановленным женами мобилизованных, задававших один и тот же вопрос:

— Почему вы, русские,—из-за которых французские рабочие сейчас дерутся,—не поступаете в армию? Наши мужья ушли...

Разумеется, эти простые женщины не могли понять той душевной драмы, которую переживал каждый из нас: с одной стороны—французская партия, которая призывала своих членов итти защищать «отечество» и республику, и немецкая социал-демократия, вотировавшая военные кредиты; с другой—вождь русского марксизма Плеханов, бывший в то время в Париже и открыто призывавший русских революционеров итти в армию и защищать цивилизацию от «немецких варваров», и, наконец, отсутствие среди большевиков кого-либо из руководителей, пользовавшегося авторитетом. Эмиграция разделилась на два лагеря. Одни говорили, что эта война буржуазная, что мы должны продолжать бороться

против нее всеми силами. Другая часть повторяла то, что говорил Плеханов, и вырабатывала декларацию о необходимости участия в войне. К позиции Плеханова присоединились большинство меньшевиков и социалисты-революционеры; но и в самой секции большевиков не было единства по этому вопросу. Беленький и ряд других товарищей решительно высказывались против вступления добровольцами во французскую армию. Представители же заграничного Бюро ЦК — Сапожков-Кузнецов, Антонов и др.—указывали на то, что нам нужно быть там, где обретаются французские пролетарские массы, т.-е. в траншеях, ибо все-таки защищаем республику против мировой монархии. Тов. Владимирский был ни за, ни против. В конце-концов стало ясно одно, что Интернационал умер, что директивы по этому вопросу может дать только Ильич; но он был арестован в Австрии. Скоро мы получили через Швейцарию телеграмму с просьбой выслать несколько сот франков на переезд Владимира Ильича из Австрии в Швейцарию, так как у него денег не было, а австрийское правительство соглашалось выпустить его из тюрьмы только тогда, когда он сможет немедленно же покинуть Австрию. Разумеется, мы бросились доставать деньги. Помню, как Гриша Беленький бегал ко всем нашим товарищам собирать деньги, чтобы освободить Ильича.

Попрежнему мы собирались почти ежедневно, но былого единодушия, которым мы гордились, в нашей секции уже не было. Мы настолько нервничали во время дискуссий, что, напр., однажды во время речи Седого к нему подбежал один оппонент с кулаками. Тов. Седой заявил, что некоторые товарищи не идут на фронт из трусости. Он считал, что можно гораздо больше принести пользы в смысле пропаганды, когда мы будем вместе с французскими рабочими. Иронически относясь к тем, кто говорил о какой-то защите республики, он отрицательно отзывался также и о тех товарищах, которые в такой исторический момент, когда решается судьба Интернационала, продолжали прежнюю политику. Через два месяца тов. Седой добровольно поступил в армию с целью вести агитацию среди французских солдат.

У меня лично было двойственное настроение. Самые лучшие большевики нашей секции, которых я безумно любил, ушли добровольно во французскую армию. С другой стороны, я понимал, что, вступив в армию, я так или иначе помогал бы моим штыком царскому правительству. Я ходил, как сумасшедший, не спал по ночам и кончил все-таки тем, что пошел записаться добровольцем. Я не мог видеть слез французских женщин, оставшихся без мужей. Но по дороге мне встретился товарищ с русской газетой, в которой была напечатана декларация нашей фракции в Государственной Думе. Прочитав ее, я вернулся обратно и решил лучше уехать из Парижа, чем итти в армию.

Должен признаться, что я не порицал, как многие, тех товарищей, которые записались в армию. В этот момент нужно было обладать исключительной волей и силой убеждения, чтобы не поддаться

общему настроению. С честью вышла из испытания секция большевиков. В своем большинстве она решительно осуждала тех, кто пошел в армию; но нужно признать, что тов. Седой, несомненно, сказал правильно: «Некоторые товарищи не пошли не потому, что они были убеждены во вреде войны, но потому, что у них была простая человеческая трусость». Конечно, это не относится к громадному большинству нашей секции. Атмосфера среди эмигрантов была накалена; немцы, разбивая французов и приближаясь к Парижу, начали бросать в город с аэропланов бомбы, разрушая дома. Я с семьей и громадная часть эмигрантов выехали из этого города-ада на юг искать работы.

Некоторое время я прожил в деревне около Тура, а потом уехал в Сан-Назер, где была крупная фабрика с 25 тысячами рабочих. На эту фабрику я решил поступить слесарем, хотя не имел никакого понятия об этом ремесле. Страшно нуждаясь в рабочих руках, французская буржуазия брала всех. Когда меня приняли, дали номерок и ящик с инструментами, я абсолютно не знал, как приступить к работе. Мастер дал мне на пробу молоток и велел отделать его напильником. Но как только я взял в руки напильник, мастер иронически спросил меня:

— Скажите, вы когда-нибудь имели дело с напильником?

Я сделал вид, что возмутился, и ответил, что у нас в России работают именно так. Но эта уловка не помогла, и он послал меня к доменной печи вынимать раскаленные снаряды и класть их на специальные машины, где они вытягивались. Здесь приходилось работать днем и ночью в душной раскаленной атмосфере, почти голым, за 6 франков в день.

Можно было заметить, как постепенно менялось настроение рабочих. Первое время среди них был отчаянный патриотизм и ненависть к немцам, но скоро все это начало как-то тускнеть. Рабочие безбожно эксплоатировались, ибо фабриканты и администрация прекрасно знали, что угроза расчета с неизбежной после этого отправкой на фронт достаточно сильна, чтобы заставить рабочих молчать. Если какой-нибудь смельчак выступал с протестом, его немедленно рассчитывали и забирали в армию.

Проработав несколько месяцев, я не выдержал этой каторжной работы и уехал обратно в Париж. В это время жизнь в Париже стала более спокойной. Немцы были далеко, хотя бомбардировка города с цеппелинов продолжалась. Часто снаряды падали и в рабочие кварталы.

Вскоре по приезде Ильича в Швейцарию, им вместе с т. Зиновьевым был выпущен знаменитый № 33 «Социал-Демократа», в котором ясно обосновывалась позиция истинных интернационалистов.

В Париже выходила в то время ежедневная русская газета «Наше Слово» под редакцией Антонова-Овсеенко, Троцкого, Мартова, Луначарского, Лозовского и др. Хотя эта газета была направлена против войны, но все-таки она не имела той ясной, определенной позиции, какую требовал момент. С одной стороны, она

боролась против войны и против тех социалистов, которые шли за нее, с другой—боролась и против нас, большевиков, называя нас «пораженцами». Наша секция вела против этой газеты отчаянную кампанию. Мы указывали рабочим, что хотя товарищи из «Нашего Слова» и называют себя интернационалистами, но они сидят между двух стульев, и их позиция затемняет революционное, классовое сознание рабочих масс.

Мы с Беленьким вели в Париже большую секретную партийную работу. Вся переписка с Ильичем, которая велась нашей секцией, посылалась в Швейцарию секретным образом. Все доклады о работе и настроении французской партии и рабочих масс пересылались в таком замаскированном виде, что ни один из прозорливых шпионов не догадывался об этом. Переписка велась в течение нескольких лет без провала. В таком же виде мы получали разные материалы от Ильича, Зиновьева и т. Инессы. Писать об этом более подробно я не считаю пока еще возможным.

Как-то раз приехала к нам из Швейцарии т. Инесса. Мы с ней и Беленьким обсуждали вопрос о том, как лучше издать нелегально книжку Зиновьева и Ленина «Война и Социализм» на французском языке. Перевести ее взялась Инесса. Издать книгу без цензуры было очень трудно, но, благодаря помощи Раппопорта, нам все-таки удалось напечатать ее в нескольких тысячах экземпляров. Каждый член секции, работавший на фабрике или заводе, распространял книгу среди рабочих.

Добровольно уехавший в армию Николай Васильевич Кузнецов, находясь раненым в больнице, изменил свое отношение к войне и, отправляясь по выздоровлении снова на фронт, захватил эту книжку с собой для распространения среди французских солдат. За 10 дней до Февральской революции т. Кузнецов погиб от пули, может быть, германского социал-демократа.

Однажды из разговора с т. Инессой по поводу приезда с фронта доктора Житомирского я понял, что она не совсем доверяет ему. Лично я относился к Житомирскому доверчиво. Он был членом нашей секции. Во время войны он, как врач, пошел во французскую армию и, когда приезжал в отпуск, всегда просил меня собрать у себя друзей, с которыми он мог бы поделиться своими впечатлениями о жизни и настроении французских солдат. Житомирский в моих глазах никогда не пользовался большой симпатией, так как он жил на широкую ногу и занимал роскошную квартиру. Внешность у него была не из приятных. Жена буквально ненавидела его. Принимал я его постольку, поскольку интересно было узнать от него новости с фронта. К нему я еще вернусь потом.

В эмигрантской среде все прежние взаимоотношения были настолько перетасованы, что часто недавние друзья не раскланивались друг с другом. Особенно ненавистны нам были те, которые призывали через печать итти защищать Французскую республику, а сами оставались в тылу, как, например, Алексинский, Авксентьев и другие, издававшие журнал «Призыв». В этом журнале принимал

участие и Плеханов. Но как мы ни ругались с Троцким и его группой интернационалистов, у нас с ними все-таки были товарищеские отношения.

В рабочем клубе часто происходили дискуссии. Особенно интересной была дискуссия по поводу доклада Троцкого после Циммервальдской конференции. Он резко критиковал позицию Ленина и нашего ЦК за его пораженческую политику. Ряд товарищей, в том числе и я, выступили против его доклада и указывали, что дело не в названии и что он является таким же пораженцем, раз предлагает вести пропаганду между солдатами против войны и стоит за классовую революционную борьбу пролетариата.

Мне приходилось часто бывать у одного из руководителей французской партии—Бракке. Он был ярым патриотом.

Однажды он сказал мне, что Гед просит меня притти к нему за работой. Я был очень рад, так как Геда знал только по книжкам. До войны он был лидером революционного марксизма во Франции. Почти на всех конгрессах Интернационала он голосовал вместе с Лениным, а теперь был «министром без портфеля» французского правительства. Меня встретил дряхлый, но еще красивый старик с великолепной бородой. Вежливо-сухо он указал мне, что ему нужно было переплести. Это были комплекты газеты «Социалист», издаваемой им и Бракке против Жореса. Характер ее был революционно-марксистский. Не уговариваясь со мной о стоимости работы, он очень просил меня приготовить ее через несколько дней, что я и исполнил. За несколько книг я спросил у него 90 франков. Он был настолько возмущен тем, что я якобы дорого с него запросил (хотя я взял очень дешево), что сказал: «Вы, русские, всегда таковы»,—и тут же с возмущенным видом расплатился со мной. Эта сцена показала мне, с кем я имею дело. Я знал, что Гед получал 12.000 франков в год, как депутат, и 64.000—как министр. И при таком колоссальном содержании он посмел бросить мне упрек в том, что я дорого взял за работу.

Однажды Бракке прислал мне билет для входа на заседание парламента.

С большим любопытством отправился я на это заседание. Мне хотелось воочию увидеть, как и кем решаются судьбы великого народа. Я под'ехал ко дворцу, громадному великолепному зданию, куда из публики пускали только лиц, имевших билеты. При входе швейцар снял с меня пальто, и я направился наверх. Внизу на депутатских местах еще никого не было. Некоторые кресла были украшены трауром, что означало, что сидевшие здесь когда-то сошли с арены жизни.

Сравнивая теперь заседания нашего Совета рабочих и крестьянских депутатов с этими парламентскими заседаниями, приходится констатировать, что наши заседания проходят куда серьезнее и дельнее, чем там, где заседают «великие мужи с дипломом ученых». Не прошло и 1½ часа после открытия заседания, как споры приняли острый характер. Один из депутатов—Бризон—выступил против

войны, критикуя правительство и буржуазные партии и в резкой форме указывая на какого-то министра. Это вызвало шум среди депутатов, и некоторые из них бросились с кулаками к нему. Несмотря на звонок председателя, крики продолжали раздаваться со всех депутатских мест. Заседание было сорвано и закрыто.

На следующий день буржуазные газеты писали о том, как депутаты спасли честь республиканской Франции от посягательства на нее изменника родины, Бризона, хотя этот Бризон далеко не был последовательным интернационалистом. Бризон был страшен для буржуазии постольку, поскольку он мало-мальски честно разоблачал все гнусности, происходившие на фронте.

Париж, столица Франции, быстро менял свою чисто французскую окраску. С каждым днем он наполнялся иностранными войсками.

Для того, чтобы поднять дух французской армии и общественное настроение, по настоянию французского правительства во Францию было переброшено морем около 20.000 русских солдат. Какой шум поднялся тогда во французской печати в связи с их прибытием! Была устроена грандиозная встреча. Буржуазия ликовала. Буржуазные дамочки бросались целовать солдат. Но нам, большевикам, было больно смотреть на наших русских рабочих и крестьян, одетых в солдатские мундиры. Николай Романов прислал сюда отборных солдат.

Эти полуграмотные солдаты, не зная языка, были счастливы, когда встречали русских. Громадная часть русских эмигрантов были сторонниками позиции Бурцева и Алексинского, которые вместе с буржуазией радовались прибытию русского пушечного мяса в помощь французским капиталистам. Нашей секции сначала было трудно начать работу среди этих солдат. Если они встречались с революционерами, противниками войны, их по первому доносу арестовывали. Но все-таки, пока они были в Париже, нам удалось распространить среди них много нашей литературы. Постепенно завязались личные знакомства. При всяком удобном случае мы старались раз'яснить солдатам, для чего их сюда прислали.

Однажды в столовке я познакомился с русскими матросами, прибывшими из Марселя в отпуск на несколько дней. Один из этих матросов был, кажется, из Харькова, по профессии—печатник. С ним было удивительно приятно разговаривать, так как он уже давно был затронут революционной пропагандой и ему только нехватало оформленности взгляда на происходившую войну. Впоследствии я узнал, что через 2 месяца, благодаря одному провокатору, этот матрос и несколько его товарищей были арестованы и отосланы во Владивостокскую тюрьму. Об их дальнейшей судьбе я ничего не знаю.

Газета «Наше Слово» приобретала все большую и большую популярность в эмигрантских кругах. Русское посольство, как видно, требовало строгих мер против этой газеты, особенно во время пребывания здесь русских солдат. Цензура усилила надзор

за «Нашим Словом», и газета запестрела белыми полосами—пустыми местами снятых цензурой статей. Когда цензурные кары были признаны недостаточными, правительство решило выслать Троцкого. Последний заявил, что он никуда не уедет и что выслать его могут только силой. Своим отказом выехать добровольно Троцкий, несомненно, ставил в неловкое положение министров-социалистов—Геда, Семба и Тома—в глазах рабочих. Но эти социалисты в кавычках без колебания принесли чистоту своей репутации на алтарь «отечества».

За 2 дня до высылки т. Троцкого русскими рабочими был устроен в пользу газеты концерт, на котором были почти все наши товарищи, в том числе и Троцкий. Он рассказал нам в комическом тоне, как за ним по пятам гнались шпики, когда он ехал сюда.

Тов. Троцкого выслали в Испанию, где немедленно посадили в тюрьму, как анархиста, и держали в самых варварских условиях. Только после долгих хлопот ему удалось перебраться в Америку.

Антонов-Овсеенко был одним из тех эмигрантов, которые пользовались широкой популярностью и любовью, особенно среди русских рабочих. Благодаря ему и под его руководством была организована биржа труда для эмигрантов. В начале войны он не занял решительной позиции против волонтерства. Спустя некоторое время, именно по его инициативе была организована газета «Наше Слово», в которой он выступал против войны. Вернувшись в Россию, он тотчас же вошел в ряды коммунистической партии.

Очень интересным товарищем, тоже пользовавшимся популярностью, был меньшевик Мирон, служивший в эмигрантской библиотеке на Габленке. Он всегда с большой любовью собирал все, что печаталось в наших эмигрантских кругах. Благодаря ему была хорошо организована наша библиотека. Кроме книг, он ничего не знал. Меньшевиком он был, по моему мнению, только потому, что долгие годы жил за границей и был оторван от русской действительности. Но стоило ему после революции вернуться в Россию, как он перешел к нам.

Февральская революция.

Проходили год за годом, и мы почти ничего не знали, что делается в России, каково там настроение масс и надолго ли еще хватит терпения у русского народа...

Однажды в марте ко мне заходит Бракке и, не здороваясь, ошеломляет меня известием:

— Вы знаете, у вас революция?!.. Петроград уже в руках революционеров!

Я вытаращил глаза.

— Я только-что из министерства иностранных дел,—продолжал он.—Там ежечасно получаются сведения о событиях в России.

— Почему же в печати ничего нет?—спрашиваю я.

— В печати так скоро и не будет, ибо в правительственных сферах все уверены, что революция будет подавлена. Они не хотят, чтобы об этом знал французский народ, так как это может деморализовать армию. Завтра приходите ко мне, и я вам подробно расскажу все, что делается в России.

Едва он ушел, как я побежал к товарищам порадовать их таким известием.

Главным центром для всех эмигрантов была столовая на Глассер. Туда я и отправился. По дороге встретил Антонова-Овсеенко. Он не поверил.

В столовой, как всегда, присутствовал Гриша Беленький, которого я застал спорящим с одним интернационалистом из группы Троцкого.

— Ну, Гриша, едем в Россию,—крикнул я и затем передал все, сказанное Бракке.

Товарищи окружили меня. Каждый из них принял весть о революции по-своему. Одни отнеслись к ней недоверчиво, другие, как Гриша Беленький, с восторженной радостью. С горящими глазами Гриша горячо спорил и доказывал, что, вероятно, революция не только в Питере, но распространилась уже по всей России. Он схватил меня за руку и порывисто сказал:

— Едемте!

Как сумасшедшие, бегали мы, рассказывая всем товарищам о случившемся. Дня через два в газетах появились, наконец, телеграммы с сообщением, что Николай отрекся от престола в пользу своего брата. Возбуждение, вызванное этой вестью у всех парижан, было колоссальное. Никто не ожидал этого. Конечно, все истолковывали по-своему русские события. Социалисты в лице Бракке считали, что теперь война с Германией будет доведена до конца, так как русский народ, освободившись от царизма, поддержит французскую демократию. Обыватели большей частью думали, что это на-руку Германии, с которой, по их мнению, будет заключен сепаратный мир. Французские солдаты, прибывшие в отпуск, возлагали надежды на Россию в деле заключения мира. Весь патриотизм, которым они были полны в первое время, давно рассеялся, а сейчас они в лице революционной России видели надежду на избавление их от ужасной бойни.

Между тем, газеты приносили все новые и новые известия из России. У каждого из нас была только одна мысль:— «скорее поехать туда, на родину», хотя мы и знали, как это трудно осуществить. Ведь, проехать в Россию можно было только через Англию и Швецию или круговым путем через Сибирь... Эмигрантскими группами был организован комитет для отправки политических эмигрантов на родину. Работа закипела.

В русском консульстве нами была захвачена квартира центральной русско-заграничной охранки со всеми документами. Для разбора этих документов была выделена специальная комиссия, в которую от нас вошел тов. Покровский. Комиссии удалось обнару-

жить много провокаторов у социалистов-революционеров. Среди большевиков был раскрыт д-р Житомирский. Дело было так. В бумагах охранки нашли подробные доклады о той работе, которая была проделана большевиками за границей как до войны, так и во время ее. По прекрасной осведомленности докладчика было видно, что над ними работал провокатор-большевик из самой группы. Только случайность дала возможность установить, что это было делом рук Житомирского. Начальник охранки в докладе министру внутренних дел жаловался, что Бурцев раскрывает много секретных сотрудников, и опасался за «Додэ», как бы и его не раскрыли. Под этой кличкой, внизу, было написано карандашом «Житомирский». Кроме этой, у Житомирского были еще клички: «Обухов», «Ростовцев» и «Андре». На меня это известие произвело особенно тяжелое впечатление, ибо Житомирский бывал у меня. Зная это, тов. Покровский предложил мне вызвать его к себе письмом якобы для того, чтобы узнать о настроении рабочих и русских солдат в связи с революцией. Я написал ему письмо, и через несколько дней Житомирский явился ко мне. При встрече с ним я не должен был подавать никакого повода к подозрению с его стороны. Поэтому, когда он протянул мне свою предательскую руку, я ответил ему рукопожатием. Мы сидели и болтали с ним больше часу. Он из'явил желание поехать в Россию и хотел просить, чтобы наш представитель комитета похлопотал о нем. Неожиданно я круто переменил тему разговора и, пристально смотря на него, сказал:

— А как вам нравится, сколько провокаторов раскрыла комиссия?.. Даже Малиновский оказался провокатором!

При этих словах лицо его осталось спокойным, ни один мускул не дрогнул. Он только ответил:

— Что там Малиновский, подождите, раскроют еще больше, чем Малиновский.

Выйдя с ним вместе из дому, я сказал, что иду в комитет, чтобы узнать, можно ли будет устроить его от'езд. Мы условились встретиться на другой день в его квартире, в 9 часов утра. Когда он ушел, я побежал к т. Покровскому и передал о нашей встрече с Житомирским.

Было решено, что комиссия в полном своем составе завтра придет к нему на квартиру. Рано утром я, Покровский, присяжный поверенный Михайлов, представитель временного правительства, и матрос-эмигрант, имевший револьвер, отправились к Житомирскому. Жил он в роскошном доме. Мы застали его еще спавшим. Через несколько минут он вышел к нам. Его нельзя было узнать: он был бледен, весь дрожал. Очевидно, он понял, зачем мы пришли. Когда он сел, представитель временного правительства прочел ему заявление, под которым он должен был подписаться. Заявление было приблизительно такого содержания: «Я, нижеподписавшийся такой-то, признаюсь, что служил столько-то лет в охранном отделении». Когда ему предложили подписаться, он весь задрожал и забормотал:

— Я не был, не был...

Тогда тов. Покровский заявил ему:

— Вы, может быть, хотите знать, насколько вы для нас ясны? Мы вам можем сказать, что ваша последняя кличка — «Додэ» и что вы за свою работу в охранке получали 2.000 франков в месяц.

Матрос в это время с револьвером в руках стоял у двери. Житомирский схватил бумагу, подписал, и мы удалились. Жалко, что нельзя было пристрелить его на месте...

В 1920 году в Париже я узнал, что Житомирский работал в качестве секретаря у министра Клемансо. Он был, как видно, правой рукой Клемансо в предательских делах против России.

В Россию!..

Нечего говорить, как эмигранты рвались как можно скорее уехать в Россию. Но англо-французское правительство ставило массу преград, особенно противникам войны,—хотя открыто и не запрещало нам уезжать. Совершенно другое отношение со стороны правительства было к русским «патриотам». Их отправили в Россию в первую очередь.

Эмигрантский комитет старался отправить в первую очередь настоящих политических эмигрантов. Носились слухи, что союзники постараются потопить тот пароход, на котором поедут политические эмигранты, противники войны, «пораженцы». За две недели до моего от'езда немецкой подводной лодкой был потоплен небольшой пароход с эмигрантами. Этот случай еще более усилил наши подозрения. Мы имели основание предполагать, что это сделано было не немцами, а англичанами. Много эмигрантов оставалось в Париже из-за боязни очутиться, вместо России, на дне моря. Вскоре стало известно, что т. Ленин с другими товарищами хлопочут о переезде в Россию через Германию. Некоторым из нас посчастливилось пробраться к Ильичу в Швейцарию. Между ними был и Гриша Беленький.

Когда в эмигрантских кругах узнали, что т. Ленин и другие благополучно приехали в Россию через Германию, поднялся ужасный вой не только со стороны патриотов, в роде Алексинского и Авксентьева, но и со стороны меньшевиков-интернационалистов. Первые говорили, что большевики этим проездом через Германию доказали, что они, действительно, состоят агентами немецкого империализма, вторые считали такой переезд нетактичным, потому что, де, рабочий класс России этого не поймет и враги используют этот факт против революции. Наша секция считала, что товарищи, пробравшиеся в Россию через Германию, поступили очень разумно.

Французская полиция не хотела выпустить из Парижа т. Лозовского, хотя тогда он еще не был большевиком. Только после долгих

хлопот со стороны французских социалистов ему разрешен был выезд.

В июне и мне, наконец, разрешили выехать в Россию с женой и ребенком. Почти все свои вещи я оставил в Париже и отправился пароходом в Лондон. Прибыв туда, я узнал от эмигрантов, что дня через два в Швецию отправляются 2 парохода,—один для мужчин, другой—для женщин и детей. Благодаря т. Чичерину, который был тогда секретарем комитета по отправке эмигрантов, мне удалось в тот же день выехать в один из английских портов, где нужно было ждать парохода. Когда я и другие товарищи прибыли туда, парохода еще не было, и нас всех поместили в бараках, чтобы произвести обыск. По очереди каждого из нас вызывали, раздевали (будь то женщина или мужчина—не разбирали), обыскивали, рассматривали на теле, нет ли какого-нибудь специального «знака». Затем нас загнали на пароходы,—мужчин на один, женщин на другой. Пароходы были не пассажирские, грязные и так набиты людьми, что негде было сидеть. Едва мы проехали некоторое расстояние, как нам начали раздавать спасательные пояса. Публика стала волноваться, так как узнала, что спасательных лодок, на случай несчастья, было недостаточно. С какой радостью увидели мы, наконец, берег Швеции и приближающиеся катера!

На пароходе с нами ехали не только политические эмигранты, но и русские пленные, бежавшие из Германии. Эти люди были ужасно озлоблены против немцев и всех тех, кто говорил о мире, они считали немецкими шпионами. По своей темноте и невежеству они плохо разбирались в политике. В Париже, благодаря влиянию «патриотов», которые материально поддерживали их и уверяли, что большевики—немецкие агенты, они буквально ненавидели большевиков. Когда мы высадились в Швеции, у нас уже было два лагеря: 1) пленные, руководимые «патриотами», и 2) большевики-интернационалисты.

Шведские власти встретили нас довольно хорошо. Для нас специально был сформирован поезд, и мы отправились дальше. В вагонах самочувствие у всех было удивительно хорошее: опасность миновала, недалеко была родная Россия. Я думал о том, как нас встретит в России новая власть. Неприятно действовали на настроение «патриоты», которые все время науськивали на нас пленных. Озлобление пленных против немцев было вполне естественно—они не могли забыть тех ужасов, которые ими были пережиты в плену, и питались надеждой отомстить за свои страдания. И господа патриоты очень умело использовали это настроение. Прислушиваясь к этой гнусной болтовне о немецких шпионах-большевиках и пр., я стоял у окошка и любовался развертывавшейся передо мной картиной июльской ночи. Это была одна из тех белых ночей севера, о которых я имел понятие только из книг. Окутанные белесоватой дымкой, стремительно пролетали передо мною и горы, и деревья, и луга, и озера. Картина была незабываемая — точно

в сказке... Так я простоял до утра, не заметив его приближения. Доехав до Норвегии, после целого ряда формальностей, мы направились в Финляндию.

На границе, в Финляндии, нас встретили самым возмутительным образом, обыскали, спрашивая, не большевики ли мы. Я никак не мог понять, почему на родине нас так плохо принимают,—нас, политических, всю жизнь свою отдавших на борьбу с самодержавием; почему офицеры и солдаты так грубо опрашивают нас, не имеем ли мы отношения к большевикам. Первые же попавшие нам в руки русские газеты об'яснили все. Мы прибыли 7—8 июля, т.-е. вскоре после известного восстания питерских рабочих с пред'явлением правительству требования о передаче власти Советам, когда травля большевиков во всех газетах была в полном разгаре. Не успел я просмотреть газеты, как услышал неподалеку шум и крик. Я побежал туда. Перед моими глазами предстала следующая картина: пленные, ехавшие с нами, вместе с пограничными солдатами набросились на наших товарищей, подозревая их в большевизме. Это сопровождалось ужасным криком женщин и плачем детей. По указанию пленных, некоторые из наших товарищей здесь же были арестованы.

Через два дня нас отправили в Питер. Многих из наших товарищей нехватало. В Питере, куда мы приехали ночью, нас встретили представители комитета помощи ссыльным и каторжанам, руководимого Верою Фигнер, и отправили по общежитиям. Я с женой и ребенком попал в общежитие, где жила М. Спиридонова. Там было несколько комнат с кроватями. Кормили нас недурно. Среди женщин было много только-что освобожденных с каторги, все они были нервны и, видимо, страдали туберкулезом. Каждое лицо носило печать долгого тюремного заключения. В этой среде я чувствовал себя удивительно хорошо. Хотя среди них было много наших принципиальных противников, но все-таки почти во всех вопросах революционной тактики они были с нами солидарны. Здесь можно было слышать, как члены партии соц.-революционеров клеймили свой ЦК. Спиридонова жила со своей подругой в одной из комнат и очень редко принимала участие в спорах. Она разделяла мнение большевиков о том, что вся власть должна быть передана Советам. Однажды она приняла участие в споре. Я увидел перед собой молодую русскую нигилистку—среднего роста, худенькую, с правильными чертами лица, очень просто одетую. Она не терпела возражений, и в этом сказывалась истеричность,—верный отпечаток каторги. При всем том, в ней было много искренности, подкупающей непосредственности.

В Питере я начал разыскивать своих товарищей. Почти все наши руководители были арестованы. Ильич и Зиновьев скрылись. Тогда я обратился к Луначарскому—мне хотелось узнать, нет ли у него связи с кем-либо из товарищей. Через несколько дней он обещал мне дать ответ, куда меня назначат работать. Мне хотелось работать в Одессе, где я всех знал и где меня хорошо знали

рабочие. Об этом я и просил т. Луначарского. В назначенный день я пришел к нему, и он передал мне, что товарищи вполне одобряют мой от'езд в Одессу, где в работниках очень нуждаются.

Опять в Одессе.

И вот я снова очутился в моем родном городе, где столько пережил. Каждый угол этого большого города был мне знаком. Я решил поступить на фабрику, чтобы не начинать партийной работы сверху, и устроился в крупной типографии «Одесских Новостей». Печатники знали, что я большевик. Союз печатников находился под влиянием меньшевиков. Во главе союза стоял меньшевик Коробков. Он пользовался влиянием, как недавно прибывший с каторги. С ним мы были когда-то хорошими друзьями, работали вместе в подполье. Не виделись мы с ним давно, и за это время отношения наши изменились. События сделали нас политическими врагами. Как хороший агитатор, Коробков пользовался большой популярностью среди рабочих Одессы. В то время он был членом президиума Совета рабочих и крестьянских депутатов, в котором большевиков было мало и руководящая роль принадлежала эсерам и меньшевикам.

Организации нашей партии тогда в Одессе почти не было, и наши товарищи об'единились с интернационалистами. И только потом, под давлением т.т. Воронского, Заславского и др., наши товарищи откололись от интернационалистов и организовали Комитет большевиков. Тов. Воронский пользовался в Одессе большой популярностью. Однако, настоящих, испытанных большевиков нехватало. К нам перешло много интернационалистов, которые страдали меньшевистской болезнью в отношении нашей тактики. Но постепенно работники к нам прибывали. Приехал крупный деятель Юдовский, и вскоре работа развернулась. Интересен один момент, показывающий, насколько комитет партии в своем большинстве не был выдержан. Когда я получил брошюру Ленина «К лозунгам», напечатанную в Кронштадте, комитет в своем большинстве отказался ее печатать, и мне ничего не оставалось другого, как напечатать ее на свои средства в типографии «Одесских Новостей». Только под влиянием приезжавших товарищей и пролетарских масс линия тактики комитета постепенно стала меняться.

Я быстро начал завоевывать влияние в союзе печатников и вскоре был выбран в Совет раб. депутатов, потом в исполком. Работать в то время было очень трудно. Приходилось бороться не только против эсеров и меньшевиков, но и с теми украинцами, которые играли двойственную, лицемерную роль. С одной стороны, они как-будто поддерживали нас, с другой—делали все возможное, чтобы нас использовать для шовинистических целей и всадить нам нож в спину (как это и было потом, когда эти господа очутились в петлюровских бандах). В то же время они шли об руку с нами почти по

всем вопросам, касавшимся борьбы с меньшевиками. Некоторые из наших товарищей считали их даже большевиками.

Комитету нашей партии удалось завоевать отдел труда, я стал во главе его. Интересна была работа этого отдела. Все конфликты,— а их было множество,—которые возникали у рабочих с хозяевами, разбирались в отделе труда, а не в союзах. Об'ясняется это тем, что рабочие массы не доверяли союзам, так как во главе их стояли по преимуществу меньшевики. Только в отделе труда принимались решительные меры против зарвавшихся фабрикантов и отдельных хозяйчиков.

Вспоминается один интересный конфликт, происшедший между крупными богачом —французским подданным Брауном, который имел цветочные магазины и большие оранжереи—и его рабочими. Когда я стал заведующим отделом труда, работницы Брауна бастовали уже два месяца. Этот господин игнорировал не только союз, но и Совет рабочих депутатов. На предложение передать дело на решение третейского суда (отдел труда) Браун решительно отказался. Когда рабочие пришли ко мне и рассказали мне подробно о всех подвигах этого гражданина «великой республики», я послал ему официальное письмо с приглашением явиться в отдел. Письма он не принял, а товарища, принесшего его, выгнал. Тогда я решил принять более радикальные меры, не спрашивая санкции президиума, ибо знал, что меньшевики не пойдут со мной. Я пригласил к себе начальника Красной гвардии (если не ошибаюсь, т. Кангун), молодого, энергичного большевика, и вручил ему ордер от имени Совета рабочих и крестьянских депутатов с полномочием арестовать Брауна и держать его под арестом до тех пор, пока не последует от меня согласие на его освобождение, а магазины его закрыть. Товарищ это поручение исполнил в тот же день, заключив Брауна в подвал, где была поставлена для него кровать с матрацем. В такой обстановке джентльмен-француз должен был, вероятно, почувствовать разницу между революционной Россией и Россией царской или республиканской Францией. Я думал, что, переночевав в этой обстановке ночь, он пойдет на уступки, и лично отправился к нему для переговоров. Я указал ему, насколько некрасиво со стороны культурного человека отказываться от третейского суда и плевать на все требования рабочих.

— Вы теперь получите свободу только тогда,—сказал я ему,— когда уплатите не только за время забастовки рабочих, но и за каждый проработанный ими год—месячное жалованье.

Так как у него были работницы, которые работали более 12 лет, то ему пришлось бы заплатить им жалованья больше, чем за целый год.

— Вся сумма,—сказал я ему,—составляет свыше 9.000 руб.

Он заявил, что никогда такой суммы не заплатит.

— Тогда вы будете сидеть,—спокойно сказал я ему.

— Только позвольте мне сидеть в лучших условиях,—попросил он.

— Нет, уж сидите в этих условиях,—ответил я,—в царских тюрьмах мы сидели в условиях, куда худших.

Через день в «Одесских Новостях» появилось извещение, что прокурор судебной палаты привлекает меня к суду за незаконные действия. Я в душе посмеялся над этим и решил, что француз все-таки будет у меня сидеть столько, сколько нужно. Каждый день к нему на свидание приходили одна за другой его многочисленные жены —то француженки, то англичанки. Свидания я разрешил. Однажды при обыске у одной из этих дам удалось отобрать записку Брауна, в которой он писал на французском языке, что необходимо войти со мной в переговоры и заплатить половину того, что я требую с него, иначе он чувствует, что захворает здесь. В то же время некоторые члены президиума настаивали на том, чтобы я его освободил. Однако, я заявил им решительно, что он будет освобожден лишь тогда, когда заплатит всю требуемую сумму, —тем более, что рабочие очень заинтересовались этим конфликтом и всецело поддерживали решительные меры с моей стороны.

После семидневного сидения Браун внес мне все деньги. Тогда я отдал распоряжение его освободить. Деньги были немедленно разделены между работницами и рабочими. От радости некоторые из них чуть не плакали, получив очень солидные суммы.

Влияние меньшевиков и эсеров ощущалось не только в Совете рабочих депутатов, но и в «Румчероде», т.-е. исполкоме армий Румынского фронта. Мы довольно успешно начали расширять наше влияние среди солдатских масс. Нам помогли события, развившиеся на этом фронте: румыны вместе с русскими генералами начали расправляться с нежелательными частями путем арестов, расстрелов, разоружения, конфискации с'естных припасов и пр. Такое отношение к нашим солдатам мы поспешили использовать и постепенно завоевали среди них доверие и авторитет.

Когда была получена первая телеграмма о падении временного правительства и переходе власти к Советам, рабочие массы и войсковые части встретили эту весть с большим энтузиазмом. Но власть в Одессе не могла перейти к Советам, так как там существовало тогда многовластие: 1) украинцы, 2) комиссар временного правительства, 3) Совет рабочих депутатов, 4) Румчерод, 5) матросы Черноморского флота и т. д.,—одним словом, город пребывал в состоянии анархии. Меньшевики, эсеры, анархисты, умело этим пользовались. Разгорелась агитация против нового Советского правительства. На улицах, особенно в буржуазных кварталах— на Дерибасовской, Преображенской улицах, собирались толпы, и велась не только антисемитская агитация, но и под демократическим соусом—проповедь против самой революции.

Ярко запечатлелся у меня в памяти такой эпизод. Как-то вечером, выйдя из Воронцовского дворца, где помещался Совет, я остановился на углу Дерибасовской и Екатерининской улиц. Здесь происходил импровизированный митинг. Говорил один офицер,

который доказывал, что Ленин и Троцкий—агенты немецкого штаба, что Россия погибнет, если большевики останутся у власти.

Кровь бросилась мне в голову, и я вне себя крикнул оратору:

— Вы лжете, милостивый государь!

Затем, не дожидаясь его ответа, я обратился к толпе и стал говорить о тех заслугах, которые имели т.т. Троцкий, Зиновьев и др. перед революцией, что у т. Ленина не только масса научных трудов, но и много лет тюрьмы и ссылки и пр.

Видя, что толпа сочувственно слушает меня, офицер задает мне вопрос:

— Скажите, вы служили в армии?

— Нет,—говорю я,—когда вы были царским офицером, я, как и десятки тысяч других революционеров, сидел по тюрьмам, а вы вместе с другими золотопогонниками преподносили нам розги.

Офицер, вероятно, ожидал, что раз'яренная толпа бросится на меня, но этого не случилось,—и он поспешил скрыться.

Этот случай показал мне, насколько было важно, чтобы коммунисты принимали участие в уличных дискуссиях, несмотря на риск подвергнуться избиению со стороны темных элементов.

Наше влияние в среде пролетарских масс настолько уже выросло, что во время перевыборов в Совет мы и левые эсеры получили абсолютное большинство голосов.

Вскоре началась ожесточенная борьба с гайдамаками-украинцами. Эта борьба постепенно начала выливаться в вооруженные столкновения на улицах. Красная гвардия была очень и очень слаба. Опытных руководителей было мало. В первый же день выступления погибли лучшие из наших товарищей, как Кангун с братом и другие. Гайдамаки варварски расправлялись с нашими пленными. Бои не давали реальных результатов ни той, ни другой стороне; улицы переходили из рук в руки, при чем, как всегда в таких случаях, много было посторонних жертв.

Измученные этой междуусобицей, горожане обратились к воюющим с просьбой о прекращении военных действий. Была составлена комиссия, которая выработала соглашение. Затем совместно был организован Революционный комитет, и вооруженные стычки на улицах прекратились. В конце же концов все осталось попрежнему. Вся власть не была в руках Советов, и продолжалась та же двойственная игра с той и другой стороны. Каждая сторона готовилась к новым выступлениям, хотя внешне все как-будто опять миролюбиво взялись за работу.

В большевистском Питере.

Приближался III с'езд Советов. Мы посылали на с'езд депутатов от 125.000 рабочих. Из этих пяти были—3 коммуниста, 1 левый эсер, 1 интернационалист. От коммунистов были—Воронский, я и еще один (фамилию забыл). От левых эсеров—Фишман; от

Румчерода тоже приехало несколько делегатов, большинство— большевики.

Дорога была очень опасная, так как Киев и другие города были в руках гайдамаков. С нами в Питер ехали железнодорожники на свой с'езд, и потому мы сообща с ними взяли вагон 4 класса, чтобы он не выделялся среди других вагонов. Взяли с собой две винтовки, с которыми сменные часовые караулили и никого не впускали в наш вагон. До Киева доехали благополучно. В самом Киеве после долгих хлопот, благодаря железнодорожникам, наш вагон был прицеплен на Питер. Никто в Киеве не знал, что мы едем на с'езд, так как иначе гайдамаки наверное сделали бы нам какую-нибудь пакость. Почти на каждой станции, как только подходил поезд, тысячи солдат бросались в вагоны и на крыши вагонов. Это была публика, сама себя демобилизовавшая и творившая все, чтобы попасть скорей домой. Солдаты неоднократно пытались ворваться и к нам, но мы убеждали их тем, что везем секретные документы.

Украинцы уже установили свою границу. За одну станцию до великорусской границы во всех вагонах I и II классов искали делегатов, едущих на с'езд. К нам не вошли, так как поезд уже тронулся. Когда мы прибыли на нашу «великорусскую» станцию, товарищи сообщили, что только-что станцией получена телеграмма (как видно, по ошибке) с приказом арестовать делегатов.

— Вы удачно отделались,—сказали они,—а то были случаи, когда варварски расправлялись с ехавшими на с'езд.

Мы прекрасно знали, что гайдамаки не церемонились с коммунистами, и то, что нам сказали, было для нас не ново.

Когда мы уезжали из Одессы, наши товарищи готовились опять выступить против гайдамаков и захватить город в свои руки, так как на нашей стороне вооруженной силы стало больше: прибыли черноморцы с 4 крейсерами из Севастополя,—они, несомненно, находились под нашим влиянием. Они могли с моря бомбардировать те окраины, где находились украинцы со своей тяжелой артиллерией. Через несколько дней после нашего прибытия в Питер радио принесло известие, что после 2-дневного боя наши разбили гайдамаков и власть перешла к Совету рабочих и крестьянских депутатов. Одесская буржуазия, наконец, почувствовала диктатуру рабочего класса.

В Питере нас разместили в роскошном дворце, в больших комнатах по нескольку человек. На с'езд прибыла масса делегатов-крестьян, которые в своем громадном большинстве были с левыми эсерами. Учредительное собрание было разогнано за день до нашего приезда. На второй день в здании бывшей Государственной Думы, где раньше заседали помещики и фабриканты, затем болтуны эсеры и меньшевики вместе с кадетами, теперь сидели истинные представители трудящихся: с одной стороны — представители рабочего класса, с другой—крестьяне. Громадное большинство делегатов были большевики, меньшевики были пред-

ставлены в виде маленькой ничтожной группы, которая своим выступлением смешила публику. Кто был на этом с'езде, никогда не забудет того энтузиазма, с которым было встречено появление на трибуне Владимира Ильича Ленина.

Нервность и напряженность чувствовались в наших лидерах. Помню, как т. Зиновьев во время перерыва спрашивал меня о настроении в Одессе. Лично он не одобрял разгона учредительного собрания. Тов. Каменев, который собирался уезжать в Лондон и Париж для переговоров от имени Советского правительства, определенно сказал, что учредительное собрание нужно было оставить хотя бы до того времени, когда будет заключен мир с немцами; лучше было бы, чтобы оно расхлебывало все то, что оставили нам царское правительство и правительство Керенского.

В самой нашей фракции происходили большие споры по вопросу о мире с немцами. Я тогда был вполне согласен с тактикой Ц. К. не только по поводу разгона учредительного собрания, но и по вопросу о скорейшем заключении мира. Настроение и разложение в армии (особенно на Украине) показывало, что говорить о дальнейшей войне—значит заниматься пустой болтовней.

Перед с'ездом я и Воронский пошли в «Смольный», чтобы увидеть Ильича. Но это оказалось не так-то просто. Только на другой день Воронскому удалось добиться приема у него.

На с'езде я любовался т. Свердловым. В своей жизни я не видел и, может быть, уже не увижу такого умелого председательствования и руководства громадным с'ездом.

По окончании с'езда в том же вагоне, в каком приехали, мы отправились обратно в Одессу. Маршрут наш был теперь совершенно другой. Хотя Одесса была взята, но около Киева еще только начались сражения, и масса других городов Украины были в руках петлюровцев. До Бахмача добрались мы спокойно, а отсюда ехали, как говорится, «на ощупь», так как на линии дороги шли бои. Приезжая на станцию, мы часто никак не могли определить, кто ее занимает: петлюровцы, или наши. Как-то ночью в наш вагон вошли несколько вооруженных человек, между которыми были и раненые. Это были воины из отрядов анархистов, которые все время сражались в первой линии огня вместе с коммунистами.

Недалеко от Одессы, около станции Сербки, вошел к нам один видный одесский (и вообще—украинский) работник, и мы сразу почувствовали, что если на следующей станции стоят не наши, а гайдамаки, то он нас выдаст. Я шепнул Воронскому, что мне совсем не интересно быть расстрелянным за несколько десятков верст от Одессы.

— Что же,—ответил Воронский,—смерть приходит один раз, но я не думаю, чтобы здесь были гайдамаки; они, наверное, все разбежались.

Фишман нервничал. В нашем вагоне стояла тишина. Наш непрошенный спутник был бледен и часто курил. До следующей

станции мы ехали полтора часа. Как только поезд остановился, наш спутник быстро вышел. Мы напряженно ожидали, что он вернется за нами с вооруженными гайдамаками; но оказалось, что он сам удрал, боясь быть арестованным нами. Гайдамаки, действительно, разбежались, так как Одесса и ряд ближайших к ней станций были взяты нашими красными частями. По приезде в Одессу, мы не узнали одесского вокзала: он был полуразрушен нашими снарядами с крейсеров. Бомбардировали вокзал потому, что здесь было сосредоточено много гайдамацкой военной силы.

В революционной Одессе.

Хотя власть перешла полностью к нам, но анархия в городе продолжалась. Одесса—специфически портовый город, где страшно были развиты воровство и проституция. Буквально десятки тысяч воров были в то время в городе. Под маской большевиков они грабили не только ночью, но и днем. Обыкновенно они проделывали это так: под'езжали на автомобиле или с подводой к какому-нибудь богатому магазину, арестовывали всех находившихся там, запирали их в одну комнату и затем обирали дочиста магазин.

В исполкоме громадное большинство было большевиков и левых эсеров. Председательская коллегия (так она называлась) состояла из 3 человек: меня, Воронского и Фишмана. Секретарем был известный анархист «Саша Фельдман». Он был одним из тех анархистов, которые все время работали с нами. Мы ему безусловно доверяли. Это был небольшого роста, худенький человек с измученным лицом.

Когда немцы начали наступать, он бросил свое секретарство, взялся за винтовку и пошел сражаться против немцев. В 1918 году он снова был секретарем исполкома, и когда Деникин взял власть, остался работать в подполье. Одесские воры ненавидели его за решительную борьбу с ними; они проследили его и застрелили из-за угла.

Работа председательской коллегии происходила в крайне тяжелой обстановке. Профессиональные союзы везде оставались в руках меньшевиков. Платить рабочим было нечем, так как буржуазия, как только власть перешла к нам, успела вынуть все свои вклады из банков. В это время под руководством одного анархиста—Хаима Рыта—был организован совет безработных, к которому не замедлили примазаться все одесские воры и сутенеры. Эти «безработные» самовольно накладывали контрибуцию на буржуев, конфисковывали продукты, а однажды потребовали, чтобы буржуазией в течение месяца было внесено в пользу безработных 10.000.000 рублей. Мы боролись с этим злом только «устно», так как реальной силы не имели. Благодаря своей демагогии, Рыт пользовался большой популярностью среди этой публики.

Когда опасность приостановки выдачи зарплаты из-за отсутствия в кассах фабрик и заводов денег стала особенно серьезной, мы вместе с «Румчеродом» решили принять репрессивные меры против местных богачей. Город был разделен на районы, были мобилизованы все коммунисты и более сознательные рабочие, а также матросы, которым можно было доверять. Вся подготовка операции велась очень конспиративно. Когда все было готово, ночью были арестованы все руководители банков и крупные богачи. Банкиры были освобождены только тогда, когда они выдали списки всех тех, которые вынули свои деньги из банков. По этим спискам мы арестовали богачей, благоразумно взявших свои капиталы из банков. Мера эта произвела отличное действие.

Через несколько дней было подписано соглашение, в силу которого богачи обязались вносить деньги определенными суммами ежедневно, после чего они были освобождены. Когда была произведена выплата жалованья рабочим, настроение их сразу изменилось.

Однажды до сведения Совета дошло, что в местной тюрьме содержится много невинных. Мне было поручено осмотреть тюрьмы, допросить и, если нужно, освободить тех, которых я найду необходимым. Я был очень рад поехать в тюрьму,—в ту самую тюрьму, где я сам столько выстрадал. Тюрьму я нашел в еще худшем положении, чем в царское время, так как никто ею не занимался.

Пища была отвратительная, люди сидели месяцами и не знали, за что они сидят. На ряду с этими сидели и такие, которых можно было давно расстрелять, а их держали в самых лучших условиях. В тюремной больнице почти все палаты были переполнены больными. Я обратил внимание на то, что в одной из этих комнат было особенно чисто и уютно и там находилось всего два-три человека. На мой вопрос, кто здесь пребывает, мне сказали: «Пеликан». Это был известный руководитель Союза русского народа, контрреволюционер и погромщик. Когда он узнал, кто я, он с'ежился и начал просить, чтобы его освободили, так как он боролся против кадетов, а большевиков всегда уважал. На эту просьбу я при нем же отдал распоряжение немедленно перевести его из больницы в тюрьму, в одиночную камеру, с указанием, что никакими привилегиями он не должен пользоваться и должен содержаться на общих основаниях со всеми.

Осматривая камеры, я попросил провести меня в камеру № 356, т.-е. в ту, где я когда-то сидел. Начальник тюрьмы почему-то замялся, но когда я решительно заявил, что хочу эту камеру осмотреть, меня повели. Когда открыли камеру, перед моими глазами предстали трое заключенных с ужасно измученными лицами, ни слова не понимавшие по-русски. Я заговорил с ними по-французски. Один от радости чуть не подпрыгнул. Оказалось, что тот, который со мной говорил, был румынский офицер, а остальные два—румынские солдаты. Попали они вот за что. Во время Февральской революции русские солдаты узнали, что в одной из румынских

тюрем, около Бессарабии, сидит т. Раковский. Они пошли освободить его. Румынские солдаты помогли им в этом силой. Этот офицер и солдаты были активными участниками освобождения т. Раковского. Когда они прибыли в Одессу, их, по доносу румынского консула, арестовали, как уголовных преступников, и бросили в тюрьму. Никто их не допрашивает, несмотря на то, что они написали массу заявлений на имя Раковского, который тогда работал в Одессе, как комиссар. Для меня было очевидно, что начальник тюрьмы замешан в этой грязной истории. Освободить их немедленно я не хотел, так как мне нужно было проверить правдивость их заявления; кроме того, все трое были совершенно голыми. Вечером я узнал от т. Раковского, что он давно их разыскивает, но не знал, где они находятся; все то, что ими было рассказано, оказалось правильным. На следующий день мы одели их и освободили из тюрьмы.

Совет помещался в бывшем Воронцовском дворце. В нем находился также президиум черноморцев. Комендантом дворца был матрос, который был с нами на с'езде Советов в Питере. Однажды утром он, взволнованный, вбегает ко мне в кабинет, выхватывает свой револьвер, кладет его на стол вместе с бомбой и заявляет:

— Арестуйте меня, я только-что убил человека, я только-что всадил шесть пуль вору!

Я никак не мог понять, в чем дело, и в то же время услышал ужасный шум по лестнице,—это толпа искала матроса. Я немедленно велел его арестовать и посадить до выяснения дела в одну из наших свободных комнат, а сам вышел во двор. Там бушевала тысячная толпа, требуя выдачи убийцы. Чтобы успокоить ее, я попросил выбрать несколько человек для совместного с президиумом выяснения виновности коменданта дворца. Толпа успокоилась и выбрала от себя 5 человек. По выяснении оказалось, что убитый был не совсем нормальный человек и что он у кого-то украл обеденную карточку во время раздачи таковых безработным. Этого было достаточно, чтобы наш матрос расстрелял его на глазах толпы, как вора. Я никогда не забуду, как раскрылась дверь и старуха-мать бросилась на труп, крича:

— За что вы убили моего сына?

Для всех было ясно, что произошло простое убийство больного человека, и толпа требовала немедленного суда над комендантом.

Вскоре прибыл отряд вооруженных матросов и забрал его на корабль. Через час он был освобожден и безнаказанно уехал в Севастополь.

При таких условиях работать было ужасно трудно. С одной стороны, город терроризовали матросы, с другой—так-называемые «безработные», руководимые Рытом. Бесшабашная пляска смерти царила во всем городе.

А тут еще в Бессарабии румыны, вкупе с нашими белогвардейцами-генералами, начали обезоруживать некоторые «ненадежные»

для них воинские части и также конфисковывать с'естные и военные припасы.

Посланные из центра товарищи для переговоров с румынскими властями были предательски расстреляны румынскими жандармами. В ответ на это мы арестовали и посадили в тюрьму всех румынских граждан, находившихся в Одессе. Между ними были крупные помещики и богачи. Первые дни они бомбардировали президиум заявлениями, что их держат в ужасных условиях, что в камерах адский холод, а также, что им не разрешают получать передачи. Мы на это не обращали никакого внимания. Жены их обивали пороги с просьбами о разрешении свиданий,—никто из нас их не принимал. Через некоторое время, однако, президиум уполномочил меня осмотреть тюрьму и узнать, в каком положении находятся наши пленники. Я не очень охотно поехал. Когда я их вызвал, передо мной предстали люди, совершенно утратившие чувство собственного достоинства. Их трусость была настолько велика, что они буквально со слезами на глазах просили, чтобы их перевели в арестный дом. Особенно мерзко и трусливо держали себя некоторые сенаторы и другие официальные лица румынского правительства. Я позволил им получать передачи и один раз в неделю иметь свидание, а через некоторое время мы их перевели в арестный дом.

Большим ударом для нас было известие, что самозванные представители Украины, Петлюра и его банда, подписали мирный договор с немцами и австрийцами и впускают немецко-австрийскую армию на Украину. Стало ясно, что нам придется оставить город без всякого боя, так как сил у нас совершенно не было, чтобы бороться с таким серьезным и организованным врагом, как немецкая армия. Немцы с австрийцами быстро, почти без боя, начали брать город за городом. Мы организовали комиссию по эвакуации всего ценного, что находилось в Одессе, и в то же время мобилизовали всех тех, которые умели владеть винтовкой. Началось спешное укрепление города. Во главе наших боевых сил стоял полковник Муравьев. Он называл себя левым эсером; по его просьбе, президиум выделил ему в комиссары левого эсера—Фишмана. В конце-концов Муравьев оказался авантюристом, и в решительный момент, когда немцы приближались, бросил все и удрал в Николаев, отдав «грозный» приказ по флоту, что «город должен быть сдан только тогда, когда не останется камня на камне».

Сдача города немцам.

А немцы все ближе и ближе подходили к Одессе. Командиром был назначен Лазарев—тоже социалист-революционер. Город усиленно эвакуировался. Пушки с крейсеров были направлены на город. Матросы раз'езжали на автомобилях по городу, а воры помогали им грабить все ценное, что находилось в городе. Благо-

даря этому деморализация еще более усилилась. Хотя было ясно, что город придется сдать без боя, но мы почему-то были уверены, что сможем продержаться несколько недель. Оказалось совершенно не то. Румынское правительство пропустило немецкие войска через Бессарабию в Тирасполь. Этим самым неприятель зашел нам в тыл. Другими словами,—о сопротивлении не могло быть и речи. Немцы, как видно, были прекрасно осведомлены о той растерянности, которая царила в Одессе. Однажды днем мне сообщили, что в «Румчерод» прибыл военный автомобиль с немецким офицером для переговоров о сдаче города без боя. Президиум уполномочил меня принять участие в переговорах. Нам было пред'явлено требование о сдаче города в течение трех дней и обещание не преследовать большевиков, если мы согласимся на это требование.

Было созвано экстренное совещание, на котором по этому вопросу присутствовали: я, Воронский, покойный Хмельницкий, Орлов, Юдовский и другие товарищи. На совещании выяснилось, что представители матросов требуют, чтобы никакого соглашения с немцами не заключать, драться до конца и уничтожить артиллерийским огнем с моря главные улицы, где живет буржуазия: Дерибасовскую, Пушкинскую, Маразлиевскую и др. Тов. Воронский произнес прекрасную речь, в которой доказывал, насколько глупо и наивно думать, что мы можем воевать с регулярной немецкой армией, и что преступно разрушать те дома, которые были созданы рабочими руками, как-будто эти дома не пригодятся нам же, когда немцы уйдут из города. С мнением Воронского почти все согласились, кроме Лазарева, считавшего, что мы можем продержаться еще две недели. Споры настолько обострились, что представители матросов демонстративно ушли. Вдруг получается известие, что на Дальнике только-что арестован автомобиль с немецким офицером и разоружено несколько десятков немецких солдат, которые на велосипедах направлялись в город. Когда этих обезоруженных немцев ввели к нам, они об'яснили, что приехали для переговоров, хотя никаких полномочий у них на это не было. Потом выяснилось, что они просто хотели окружить «Румчерод» и забрать нас в плен. Этот факт убедил нас, что держаться долго в городе мы не сможем. Решено было подписать соглашение о сдаче города без боя в течение трех дней.

Поздно ночью мы получили от матросских делегатов приглашение прибыть на крейсер для совещания. По всему городу раздавалась стрельба: это матросы и так-называемая «безработная армия» Рыта грабили и убивали направо и налево. Я отправился домой, чтобы немного отдохнуть, но, не доходя до городского сада, был сшиблен с ног ударом винтовки. Через несколько минут я пришел в себя, поднялся и в душе пожалел, что не пошел с товарищами на крейсер. До крайности утомленный, морально разбитый, я дома заснул, уверенный в том, что у меня имеется еще три дня для подготовки к от'езду. Но рано утром немцы с петлюровскими бан-

дами вошли в город и заняли все государственные учреждения. Нужно было думать о том, как скрыться более конспиративно. На пароход, который должен был забрать меня, я уже попасть не мог.

Под юнкерским сапогом.

Аресты и убийства начались с первого дня; особенно отличались по этой части петлюровские банды. Меньшевики и социалисты-революционеры под охраной немецких штыков переизбрали Совет рабочих депутатов, и он продолжал работать. Когда немецкие генералы расправлялись с рабочими и коммунистами, меньшевики помогали им в этом. В новый президиум Совета, как мне помнится, от меньшевиков входили Коробков и Сухов, а от соц.-революционеров—старый слепой революционер (фамилию его не помню). В меньшевистской газете «Южный Рабочий» печатались статьи против коммунистов более глупые, чем даже в буржуазных газетах «Одесский Листок» и «Одесские Новости». Я несколько дней скрывался на конспиративной квартире, потом уехал в местечко Волегоцелово, где и жил некоторое время нелегально.

Помещики и фабриканты, при посредстве немецких и петлюровских офицеров, беспощадно расправлялись с теми крестьянами, которые подозревались в сочувствии большевикам или принимали активное участие в разграблении помещичьих усадеб. Постепенно у населения все более и более стала развиваться ненависть к немцам, австрийцам и петлюровцам, и в связи с этим начались частые нападения на немецкие части. Нападения носили неорганизованный характер, но, несомненно, терроризовали и деморализовали немецкую армию.

Наша подпольная работа первое время никак не налаживалась. Аресты и расстрелы не давали возможности наладить аппарат. Но вот я узнал, что в Одессе начала выходить наша газета, выпущен целый ряд прокламаций и образован областной комитет коммунистической партии. Все это говорило о том, что первый момент растерянности и дезорганизации прошел и работа опять налаживается.

Как-то ночью в местечко, где я скрывался, прибыл большой немецкий военный отряд. Вдруг началась бешеная стрельба из пулеметов и винтовок. Оказалось, что наши партизаны напали на немецкий караул и захватили пулеметы.

Оставаться здесь для меня стало рискованным, и я переехал в Тираспольский уезд, в местечко Петроверовка. Оттуда я быстро связался с областным комитетом партии и по его директивам начал вести работу. Мне удалось посредством двух преданных коммунистов из крестьян организовать революционный комитет и повести работу среди крестьян соседних деревень. Кроме работы среди русского населения, областной комитет стал выпускать прокламации на немецком языке и распространять их среди иноземных солдат.

Узнав о занятии Киева «гетманом» Скоропадским, я стал надеяться, что, хотя реакция еще более усилится и помещики поднимут выше голову, но вместе с тем усилится и революционное движение, так как крестьяне и рабочие почувствуют настоящее, без всякой примеси, царское время. И действительно, в городах и местечках начались назначения старых царских опричников— от градоначальников до приставов и урядников включительно.

Оторванность от Москвы все время угнетала меня. Хотелось как-нибудь пробраться в Москву, и когда начались переговоры между советским и гетманским правительствами и во главе нашей делегации был назначен т. Раковский, я решил поехать в Киев, чтобы оттуда попытаться пробраться в Москву. Много сил и здоровья стоило мне путешествие до Киева. Приехав туда, я узнал, что между нашей и гетманской делегациями произошел конфликт, и т. Раковский выехал в Москву. Пришлось возвратиться обратно.

По возвращении я заболел «испанкой» и проболел довольно долго. По выздоровлении стал опять продолжать свою работу.

Партизанские отряды проявляли большую активность по всей Украине, нападая по железным дорогам на отдельные отряды. При областном комитете был специально организован военный штаб.

Когда в Германии вспыхнула революция, началась деморализация находившихся у нас на юге немецких частей. Стали организовываться и среди них Советы солдатских депутатов. Они требовали немедленной отправки их домой. Используя это положение, мы развивали большую активность. Для партизанских отрядов конфисковывали и покупали оружие. В то время партизанщина разлилась особенно широким потоком. Была масса бессмысленных и жестоких эксцессов,—особенно в Одессе. Там взорваны были казармы и склад с военными припасами, при чем погибло очень много солдат, и, кроме того, было разрушено несколько улиц и домов с массой человеческих жертв. Кто был виновником такого акта—не знаю; знаю только, что это было делом рук не наших товарищей, а по всей вероятности анархистов.

Трудно было руководить партизанскими отрядами, так как на Украине был очень развит антисемитизм, и даже те партизаны, которыми руководили мы, коммунисты, иногда под влиянием ловких провокаторов устраивали еврейские погромы. В таких случаях остановить их было очень трудно. Приходилось использовать всех и все, чтобы помочь присоединявшемуся к нам Григорьеву с его армией. И когда немцы начали эвакуировать Украину, а, с другой стороны, началась оккупация Одессы французами, рост революционного движения крестьянских и рабочих масс был чрезвычайно велик; ясно было, что наступление партизанских отрядов можно было задержать только на некоторое время, но ни в коем случае оккупанты не могли завоевать симпатий трудовых масс. Будущее это оправдало. Им недолго пришлось хозяйничать на Украине.

ЧАСТЬ II.

Посвящаю эти записки французскому товарищу Селин.

В оккупированной Одессе.

В конце 1918 года немцы регулярно отправляют свои части из Одессы, и почти одновременно начинается десант французских и греческих солдат. Буржуазия ликует. Во главе деникинских частей в городе стоит реальная сила,—французские солдаты.

Меня одолевает сильное желание пробраться опять в Одессу, где я работал, в президиуме Совета рабочих и красноармейских депутатов, и где вся буржуазия меня прекрасно знала. Зная, какую пользу я могу принести, владея французским языком и умея подойти к французскому рабочему, переодетому теперь в солдатский мундир, я решаюсь переехать в Одессу. Прибыв в город, я быстро связываюсь с областным комитетом партии, в который тогда входили т.т. Н. Ласточкин [1] и Клименко. На первом свидании с тов. Ласточкиным я высказываю мнение, что главная работа должна быть направлена на пропаганду среди французских солдат. Он с радостью соглашается и дает мне полную самостоятельность. Я устраиваюсь на Базарной ул. в маленьком погребе одной бедной семьи, стараясь реже показываться на улицу.

Узнаю, что мой товарищ по тюрьме и эмиграции, бывший анархист Миша Штиливкер, находится в Одессе. Он хорошо владеет французским языком и предан революции. Обращаюсь к нему за помощью. Организую редакцию, в которую входят: Залик (румынский коммунист), М. Штиливкер, я и представитель областного комитета партии, Елена Соколовская. Нам очень легко удается выпустить две прокламации, в распространении которых принимает деятельное участие коммунистическая молодежь, особенно девушки. Настоящим праздником был для нас 1-й выпуск газеты, но в отпечатанном номере вместо «Le communiste» напечатано было «La communiste». Выходило, что газета называлась «Коммунистка», а не «Коммунист». Пришлось уничтожить только-что отпечатанные номера, чтобы наши враги не стали издеваться над

[1] Иван Смирнов.

нашей безграмотностью. Печатники добросовестно проработали всю ночь, и к утру мы имели новые номера газеты.

В это же время т. Мишелю удается завязать сношения с французскими солдатами и матросами. Обыкновенно это делалось так. Встречаем двух-трех солдат, определяем, рабочие ли они или нет, и начинаем заговаривать с ними по-французски. Они радостно и с охотой нам отвечают, потому что здесь было немного людей, которые могли бы поговорить с ними на их родном языке. Зная, что от француза за бутылкой пива можно многое узнать, мы прибегали к этому способу. После небольших разговоров приглашаем их в кафе. На Тираспольской ул. были два кафе, куда мы обыкновенно захаживали. Пригласив их сесть за стол, мы заказывали вина и за разговорами начинали «вылавливать» себе единомышленников. Таким образом, в каждой части мы имели нескольких французских солдат, вполне нам сочувствовавших.

Однажды вбегает ко мне Мишель и сообщает, что им собрано человек 18 французских солдат, вполне надежных, по его мнению.

— Нужно сегодня же подготовить план восстания,—говорит он.

Я убеждаю его, что вопрос о восстании надо пока отложить.

Иду с ним в кафе. Много солдат и несколько матросов уже там и распивают вино. Встречают они нас радостно, и мы немедля приступаем к делу. Вопроса о восстании мы не поднимаем, но говорим о необходимости распространения газет во французской армии. После небольшого совещания выясняется, что распространение газет идет весьма удачно, даже нехватает номеров. Один из солдат рассказывает, как ему удается получать эту газету:

— Прохожу по Прохоровской ул. мимо фабрики Вальтуха. Очень хорошенькая работница бросается мне навстречу и дает пакет. Ничего не поняв, что̀ она мне сказала, иду с пакетом в казармы. Раскрываю его и вижу газеты на французском языке. Я сейчас постарался раздать их между всеми. Таким же путем я и сейчас получаю газеты и прокламации,—заканчивает он.

Другой рассказывает о том, как его полковник стал большевиком. Все рассказы проникнуты легким французским остроумием:

— У меня была газета «Коммунист», которую я и мои товарищи уже прочитали. Бросать было жалко; я решил, что моему полковнику тоже не мешает ее прочитать. Утром кладу эту газету на стол. Как видно, полковник прочел ее с большим вниманием, потому что часто говорил своим офицерам: «Я тоже большевик, если большевизм заключается только в том, чтобы не драться с русскими и что можно уехать домой к своей жене. Чорт знает, что такое! Немцев прогнали, а нас прислали сюда».

Один из сидевших матросов долго молчал и, наконец, с большой грустью на лице сказал:

— Мне все-таки стыдно называться французом. Мы, французы, столько пережили революций и теперь должны душить своими руками русскую революцию.

В дальнейшей нашей беседе было решено, что в следующем номере нашей газеты от имени французских солдат будет напечатано воззвание к русским солдатам.

Таким образом нам удавалось расширять нашу работу. Посредством французских солдат мы знали точную цифру всей армии и оружия.

Но буржуазия ликовала. Каждый день прибывало все больше и больше амуниции и греческих солдат. Танки развозились по буржуазным кварталам, и слышно было, как буржуазия возвещала: «большевистским бандам скоро конец!».

В нашей маленькой редакции на Княжеской ул.,—у тов. Минковицера,—шла другая работа. Подбирался и обрабатывался материал для газеты. Мы собирались два раза в неделю. Своей редакционной работой, своими маленькими газетами мы уничтожили белогвардейский фронт гораздо успешнее, чем они это предполагали. Наше оружие было слово, их—сталь, железо и кровь. Мы говорили французским рабочим и крестьянам, одетым в солдатские мундиры: «Поезжайте домой, ваш настоящий враг у вас дома, а с нашим врагом мы расправимся сами. Не будьте же оружием нашей буржуазии, которая вашими руками хочет уничтожить все завоевания пролетарской революции».

После четвертого номера нашей газеты и нескольких прокламаций мы были уверены, что французский солдат с нами драться не будет. Мы форменно разлагали все их воинские части. Настроение наших рабочих масс было прекрасное. Почти каждую неделю нам удавалось выпускать на русском языке газету «Коммунист».

Однажды прибегает ко мне Миша и рассказывает:

— Я был в порту. Один из наших грузчиков работает, а французский солдат охраняет грузы. И вот французский солдат обращается к русскому рабочему с вопросом—«ты большевик?», и смеется. Рабочий останавливается, показывает свои мозолистые руки и, утвердительно кивнув головой, жестами убеждает его в том, что большевик только тот, кто имеет мозолистые руки. Буржуй (показывает жестами) не может быть большевиком. Вдруг подскакивает деникинский офицер и кричит: «Ты что тут пропагандируешь?». Рабочий отвечает, что он не говорит «на собачьем языке» и пропаганду не ведет. Офицер тащит его в контр-разведку: «Мы там разберем все»,—говорит он. Рабочий, зная, что это значит, решительно отказывается итти. Офицер выхватывает револьвер и угрожает: «Идем, нето я тебя расстреляю!». Французский солдат ничего не понимает. Видя сопротивление рабочего, офицер стреляет в него. Раненый рабочий падает. Французский солдат, наконец, понимает все, прикладывает винтовку к плечу и убивает офицера.

Из этого коротенького, но яркого эпизода в порту видно, какое настроение было у французских солдат и русских рабочих.

Я в то время все еще продолжал жить в своей конуре, редко появляясь на улице. Жена, долго не получая от меня писем, бес-

покоилась и, наконец, приехала ко мне. Ночевать там, где я обыкновенно ночевал, было нельзя. Перебираемся к знакомым и, как оказалось, во-время: в ту же ночь на квартиру, из которой я только-что переехал, явилась французско-деникинская разведка, чтобы арестовать меня. Не найдя меня, они забрали с собой хозяйку с двумя детьми. Пришлось поселиться в другом месте, в 85—100 верстах от Одессы. Перед от'ездом беру задание связаться с партизанским отрядом Попова и совместно действовать в тылу нашего врага. Бывший петлюровский атаман Григорьев присоединяется к нам. Попов — молодой, энергичный солдат, сын начальника почты—имеет под своей командой более двухсот сабель. Он делает нападения то в одном, то в другом направлении. Берет город Тирасполь и удерживает его три дня. Французы направляются на него целой армией.

В это время товарищи мои в Одессе продолжают развивать свою подпольную работу. Но конец их был трагический. К ним умело проникает один провокатор и выдает их всех: Мишу, французскую учительницу Лябур, прибывшую к нам из Москвы, невинно арестованную с двумя 14—16-летними девочками семидесятилетнюю старуху, страшно истязают в контр-разведке: ломают им руки, ноги, выкалывают глаза и еле живыми расстреливают. Когда их хоронили, больше десяти тысяч рабочих бросили работу и следовали за их гробами.

Это еще больше поднимало в нас революционный дух. Скоро нам удается близко подойти к Одессе. Киев и Николаев уже были взяты. Самый серьезный бой был на станции «Березовка». После трехдневного боя, где участвовали греки, французы, поляки, деникинские отборные офицерские части с танками,—все они были нами разбиты; танки были взяты. Красноармейцы-партизаны смеялись, что греки забыли свои «маслины». Все пленные греки, поляки и белогвардейские офицеры тут же были переколоты нашими красноармейцами—никак нельзя было их остановить. Но французов не трогали: красноармеец чувствовал, что французский солдат не хочет драться, что он шел по принуждению; в других же он видел угнетателей.

Связь между нами и городом была настолько налажена, что мы узнали от нескольких своих вооруженных рабочих, которые только и ждали сигнала с нашей стороны, чтобы поднять восстание, что уже существует нелегальный Совет рабочих и красноармейских депутатов, который и выпускает газету «Известия Совета».

Когда мы были совсем уже около города, тов. Фельдман, и Е. Соколовская от Совета, отправились с другими товарищами к французскому генералу с требованием немедленной сдачи города. Генерал вежливо их принимает и говорит:

— Нужно отдать вам честь: 60% моей армии вы уже разложили. Теперь я прошу выпустить мои части в Румынию, проводить до Бессарабии.

Город сдается.

Идут ожесточенные расстрелы белогвардейцев, которые перед тем успели захватить нашего видного работника товарища Ласточкина, главного руководителя подпольной работой, и живым опустить в море. Месть рабочих произвела громадную панику среди буржуазии. Чтобы попасть на пароход и выбраться из города, они не скупились на миллионы, убивали друг друга.

Когда все наши воинские части вошли в город, водворился полный порядок. Советы крепко взяли власть в свои руки.

Иностранная коллегия.

В 1919 году я живу в г. Одессе. Губком поручает мне взять на себя коминтернскую подпольную работу. Я быстро организую коммунистические иностранные группы, в которые входят французы, англичане, турки, греки, румыны, болгары и итальянцы. Эти группы выбирают меня председателем. Нас утверждают, как отдел пропаганды Коминтерна.

Несмотря на строгий надзор десяти военных крейсеров противника, нам всегда с успехом удавалось отправлять на небольших лодках в Болгарию, Турцию и Румынию надежных людей и литературу.

Рассчитывая на патриотизм противной стороны, мы прибегали часто к таким приемам. Переряженных иностранцами товарищей коммунистов мы ночью размещали по небольшим лодкам, давали условный сигнал и, когда те отплывали, открывали по ним замаскированный огонь. С крейсеров немедленно спускали моторные лодки, торопясь притти на помощь своим единомышленникам (как они думали), преследуемым большевиками.

При таких счастливых случаях нам удавалось многое сделать. Конечно, приходилось пускаться на хитрости. Каждый раз возникавшие официальные переговоры с представителями иностранных флотов давали возможность распространять среди их матросов не одну сотню специальных брошюр. Сначала это было определенным навязыванием, и только потом, спустя некоторое время, мы имели дело с явным желанием получить от нас революционную литературу не только среди матросов, но даже и офицерства. Особенно ходко распространялись среди них книжки т. Садуля.

— Мы тоже большевики,—часто заявляли нам матросы.

— Ни один из честных республиканцев не пойдет против вас,— говорили нам офицеры.

И действительно, скоро мы стали свидетелями одного из крупных восстаний во флоте, героем которого был офицер Марти, заслуживший за это двадцать лет каторги.

Многих удавалось завербовать нам на свою сторону и при обмене пленными. Здесь не могу обойти молчанием несколько комических случаев, имевших, однако, большое значение. По прибытии

пленных французы намечали в порту нейтральную зону. С нашей стороны в полном боевом порядке размещались французские солдаты, с другой—на двадцать шагов дальше—наши красноармейцы, тоже в полном боевом порядке. Своих пленных мы старались встречать торжественно, с красными знаменами, на которых были иностранные революционные надписи; выходили с музыкой все пролетарские организации и воинские части. И как только начинали играть Интернационал, французские офицеры отдавали своим солдатам команду: «повернись»,—т.-е. солдаты должны были показать полное неуважение к этому гимну. Возмущаясь этим, я даю сигнал играть Марсельезу. И нужно было видеть картину мгновенного переполоха среди них: офицеры вытягивались, солдаты не знали, как быть... Мы хохотали.

Для наших целей нам нужно было разместить французскую группу коммунистов с революционными французскими плакатами в первых рядах, чтобы противоположная сторона могла их ясно видеть. Так и делаем. Французский товарищ Боди произносит громовую речь на французском языке, обращаясь, конечно, к русским солдатам. Ни один русский ничего не понимает, но зато все сказанное хорошо понятно французским солдатами. Офицеры в бешенстве, не знают, что предпринять. Капитан судна подходит ко мне и резко заявляет, что если это не прекратится, он даст приказ открыть пулеметный огонь.

— Пулеметы и пушки,—отвечаю я ему иронически,—найдутся и у нас, а пока я прошу вас уйти с нейтральной зоны, иначе я вас арестую.

В бессильном бешенстве он удаляется.

Эти напоминания о коммунизме не могли проходить незаметно для иностранных солдат, и мы чувствовали себя бодро, зная, что на нашей стороне большая сила,—сочувствие матросов, которые если и пойдут против нас, то только потому, что кулак Антанты будет гнать их на это.

В августе Деникин недалеко от города высадил десант. Всю работу нашего отдела Коминтерна приходится наскоро ликвидировать. Иностранцам-коммунистам, которые желают остаться в городе, быстро даются фальшивые паспорта. Но есть много желающих уехать, выбраться из города. Все бросаются в поезда, переполненные раненными красноармейцами. Нет ни одного свободного места, смятение ужасное... Мне, старому коммунисту, которого все в городе знали,—особенно буржуазия,—очень трудно и рискованно было оставаться. В это время президиум отдела Коминтерна получает шифрованную телеграмму, по которой я и Бужор,—мой румынский товарищ, пребывающий теперь на румынской каторге,—должны были отправиться за границу, во Францию, от имени Коминтерна, на подпольную работу. Нужно было ждать счастливой случайности, чтобы вполне безопасно, с пользой для общего дела, уйти на новую работу. Пришлось на время поселиться у одного из товарищей, который великодушно, рискуя

своей головой, принял меня под свой кров. И я жил у него, не выходя из дома, чутко прислушиваясь к жизни.

Город дрожал от орудийной пальбы военных крейсеров, а все живое—от дикой ярости белогвардейцев, которые не щадили наших товарищей. Много было их арестовано, расстреляно, повешено. Стоны женщин, потерявших мужей, сыновей, плач детей, искавших родителей, раздавались повсюду днем и ночью. Слепая ненависть к коммунистам требовала жертв, и белые косили направо и налево, не разбираясь, не рассуждая. Передавали много фактов, когда магические слова—«он коммунист» (порой ложно сказанные) немедленно отправляли «виновного» на тот свет.

Читаю однажды с трудом добытую газету «Одесский Листок». В ней пишут, что в здании «Чека», на лестнице, нашли много обезображенных трупов. В газете горячее воззвание к гражданам притти и убедиться на фактах, каковы коммунисты. «Это их рук дело!».. Не пожалели лживых красок. Но цели они не достигли. Всякий более или менее сознательный человек видел в этом уловку, известный прием, чтобы ослабить силы коммунистов, подорвать их авторитет. Белогвардейцы воровски, ночью, собирали трупы коммунистов, а потом нагло приглашали смотреть на них, оставляя в тени самих себя, надевая маску великодушия и справедливости.

Узнаю о печальной кончине одного из наших товарищей, Хворостина, который был за последнее время руководителем партизанского отряда. Его страшно мучали, срывали ногти, голым сажали на раскаленную плиту. А потом измученного, обессиленного расстреляли. В рабочем районе, на Пересыпи, повешенные висели по целым неделям. Хотелось отмстить за все это грубое варварство, хотелось работать для великого дела революции, чтобы меньше было этого бессознательного варварства... О том, как выбраться за границу, как успешнее выполнить возложенное на меня поручение Коминтерна, думаю ночью и днем. Счастливые случайности помогают мне. Прежде всего, думаю об изменении своего внешнего вида, снимаю очки, отпускаю бородку, одеваюсь настоящим буржуем и со своей семьей—женой и восмилетней девочкой—переезжаю в один из буржуазных домов города (на ул. Скобелева). Начинаю выходить на улицу. Сколько напряженности, сколько слежки за самим собой нужно было иметь, чтобы тебя не узнали, не арестовали, не повесили... Мысленно всегда прощаешься с женой и девочкой, когда уходишь из дому. А ночью жутко прислушиваешься к каждому шороху, к каждому звуку—не за тобой ли пришли?.. И в таком напряженном состоянии приходится жить долгое время, считая минуты. Между тем жизнь в городе изменилась до неузнаваемости. Расфранченная буржуазия справляла свой праздник победы над большевиками. И это сытое, самодовольное ликование рядом с кровью убитых за идею товарищей резало глаза. Но компартия продолжала работать. Удалось выпустить нелегальную газету «Коммунист», со столбцов которой мы упорно звали на дальнейшую борьбу за светлое буду-

щее. Много убыло из нашего строя, но работники еще были, и мы могли продолжать свое дело.

Бужор тоже был жив и здоров. Нужно было его увидеть и окончательно выработать план от'езда за границу. Встретившись, мы решаем, что я еду в Италию и Францию, он—в Румынию. Дальнейшую организацию от'езда беру на себя.

Случайно узнаю, что в одном из посольств служит бывший иностранный офицер, который был у нас в плену и которому я когда-то спас жизнь. Недолго думая, начинаю действовать. Посылаю к нему товарища с сообщением ему лично, что один богатый русский коммерсант имеет к нему серьезное дело и хочет его видеть. На другой день мы должны были встретиться с ним в условленный час в клубе артистов и писателей (на Греческой ул.). Отправляюсь на свиданье. Среди нарядной публики клуба, переодетый до неузнаваемости, я был незаметен. Я увидел его издали,—он был с каким-то белогвардейским офицером. При встрече он не узнает меня.

— Что, не узнали?—спрашиваю я.

Он бледнеет:

— Неужели это вы?

— Да, это я. Вы можете меня арестовать. За голову мою много возьмете, но знайте, что и вас не будет, если со мной что-нибудь случится. Вы лучше сделаете, если поможете в одной моей просьбе. Недурно заработаете за это.

— Нет, я не выдам вас. Я все сделаю, что вы просите, но только о деле будем говорить потом,—со мной сидит офицер контр-разведки.

И он знакомит меня с ним, конечно, под флагом богатого коммерсанта.

Быстро приходится войти в свою роль и доводить ее до конца. Занимаем большой стол, заказываю ужин, вино. Мирно разговариваем, шутим, смеемся. И в такой мучительной обстановке с глазу на глаз со своим кровным врагом, убийцей моих товарищей, пришлось провести несколько часов. Сколько осторожности, игры нужно было, чтобы у него не появилось даже и тени сомнения, что он имеет дело с тем, о котором газеты сообщали недавно, что он арестован и даже расстрелян...

Спустя некоторое время я опять должен был иметь свидание в том же клубе, где на сей раз устраивался концерт-бал. Переодетые до неузнаваемости, я, жена и один из моих товарищей отправляемся вечером на этот концерт. Масса народу, шумно и весело. Полицейские внимательно осматривают публику.

— Слушай, на тебя подозрительно смотрит один полицейский. Сейчас он что-то сказал мальчику и мальчик вышел—не полицию ли звать?—шопотом сообщает мне жена.

Зная ее болезненное воображение, я не обратил на это сообщение никакого внимания. Входим в зал, занимаем места. На сцене выступают лучшие артисты. Одесская публика отдыхала, предаваясь развлечению. Но мои мысли были далеки от этого веселья.

Проходит назначенный час, а моего офицера, обещавшего помочь мне в моем деле, не видно; и в душу невольно закрадывается сомнение и тревога. Вспоминаются слова жены, и подозрение еще более усиливается. И среди шума веселой толпы, под гул рукоплесканий артистам, отдаюсь моим мрачным мыслям. Рисуются кошмарные картины: арест, расстрел, сиротливая, одинокая жизнь моей маленькой девочки, которая сейчас беззаботно спит в своей кроватке... Этой 8-летней малютке часто приходилось становиться выше своих лет, быть моим другом, сообщником в работе: «Наша фамилия теперь Гардон, я это буду помнить, чтобы тебя не арестовали»,—говорила она.

«Сними свои очки, тебя узнают», — просила она часто. — «Если вы хотите узнать, кто мой папа и что он делает, вы его спросите»,—твердо отвечала она людям, которым я внушал подозрение. И вспоминается много-много других картин, когда она своим маленьким сердцем сама находила дорогу, выпутывалась из всевозможных сетей, оберегала меня от неприятностей. Тяжело и нехорошо было на душе, хотелось еще жить и работать...

С такими тяжелыми мыслями я просидел в клубе до конца концерта. Собираемся итти домой. Только-что начали одеваться, как перед моими глазами появляется матрос, служивший в «Чека» и прекрасно знавший всех нас. Встречаемся глазами и долго смотрим в упор друг на друга. Вот он вынимает маленький браунинг и, не отводя взгляда, показывает мне. Видя, что все его движения замечены мной, он спокойно кладет свой браунинг в карман.

— Мы пропали, он нас узнал...—говорю жене по-французски.

Нетрудно было сообразить, что он перешел на сторону противников и теперь, очевидно, состоял агентом контр-разведки. Выдать и арестовать нас было делом минуты. Нужно было извернуться, найти скорей выход из создавшегося положения. Мы делаем вид, что остаемся. Товарищ берет ключ у знакомого артиста, чтобы выпустить нас через другую дверь на улицу. Через несколько минут все уже сделано, и мы быстро направляемся к дому.

Долго не мог я понять, почему матрос тут же не арестовал нас, если он был провокатором; сделать это было нетрудно. И только спустя некоторое время, раздумывая над этим фактом, я пришел к следующему выводу: очевидно, в нас он увидел большевиков, изменивших, перешедших на сторону Деникина. Может быть, так же скрываясь, как и мы, он в этот вечер в первый раз вышел на улицу. Увидя нас, он струсил, думая, что мы его выдадим и арестуем. Все это и заставило его пригрозить мне браунингом. Одним словом, свой своего не узнал. С этим товарищем мне никогда больше не приходилось встречаться.

При посредстве того офицера, который обещал нам устроить поездку за границу, вскоре удалось добыть иностранные паспорта. Посольство одной из иностранных миссий подписало их, и нам оставалось только достать визы итальянской, французской и ан-

глийской миссий для проезда через Константинополь. Мне удалось получить визы во всех миссиях, кроме одной, куда я не мог пойти, потому что меня там хорошо знали по голосу. Пришлось пуститься на хитрость. Прихожу к послу, который мне выдал паспорт, и заявляю, что итальянцы не дают мне визы, потому что я журналист и писал статьи против их политики. Здесь же сидел генерал, приехавший из деникинской ставки, готовый к от'езду к своему правительству с докладом.

— Как,—возмутился он,—наш подданный, и итальянцы не дают визы? Вы поедете со мной, и никто не посмеет вас тронуть.

Так счастливо удалось мне устранить последнее препятствие. От'езд наш был совсем сорганизован. Чтобы покончить с отделом Коминтерна, знакомлю вновь назначенного секретаря—т. Дору—со всеми делами и выдаю мандат. Стойкая, сильная, бодрая, Дора соответствовала своему назначению, но недолго работала на своем месте. Благодаря ее малоопытности (она была очень молода), ее скоро арестовали. Каким бесстрашным героем, рассказывают, держалась она во время предварительных мучений до смерти. Когда ее судили с другими молодыми товарищами под председательством деникинского генерала, она обратилась к судьям с речью:

— Вы—герои и дрожите от мысли, что скоро придет Красная армия и займет город; вы—герои, когда идет дело о расстреле меня и моих товарищей. Знайте: мы умрем, но наша идея непобедима. А вы уже побеждены. Через несколько дней наша Красная армия отмстит вам за нашу кровь.

Вот ее последнее письмо:

«Славные товарищи, я умираю честно, как честно прожила свою маленькую жизнь. Через 8 дней мне будет 22 года, а вечером меня расстреляют. Мне не жаль, что погибну так. Жаль, что мало мною сделано для революции. Только теперь я чувствую себя сознательной революционеркой и партийной работницей. Как вела я себя при аресте, при приговоре, вам расскажут мои товарищи. Мне говорят, что я была молодцом. Целую мою старенькую мамочку-товарища. Чувствую себя сознательной и не жалею о таком конце. Ведь я умираю, как честная коммунистка. Мы все, приговоренные, держим себя прилично, бодро. Сегодня читали в последний раз газету. Уже на Берислав, Перекоп наступают. Скоро, скоро вздохнет вся Украина и начнется живая, созидательная работа. Жаль, что не могу принять участие в ней. Ну, прощайте, будьте счастливы.

Дора Любарская» [1].

Армия была тогда в 125 верстах от города.

Русские белогвардейцы не могли нанести Доре смертельного удара, и только пьяные грузины зарубили ее.

[1] Из журнала «Коммунистка» (издание отдела ЦКРКП по работе среди женщин) за октябрь—ноябрь 1922 г., № 10—11.

25-го декабря на автомобиле отправляюсь на пароход. По протекции генерала, еду на роскошном пароходе, имея билет 1-го класса. Шпионы шныряют повсюду, осматривают пассажиров, проверяют паспорта. Здесь много русских купцов, фабрикантов, помещиков, которые уезжали за границу, зная, что Деникин недолго будет у власти, что большевики скоро придут.

Я не трогаюсь с места, читаю, внимательно прислушиваясь ко всему происходящему вокруг. Приближается какой-то шпик и начинает рассматривать меня,—очевидно, я показался ему подозрительным. Но вот подходит генерал, подает мне руку и начинает со мной разговаривать. Шпик после этого моментально исчезает. Обошлось и без проверки моего паспорта. Через несколько часов пароход отчалил от пристани, направляясь в Константинополь.

Впереди предстояла большая дорога, сопряженная с необычайными трудностями.

От'езд на подпольную работу.

Находясь на пароходе в полной безопасности, мне как-то не верилось, что я так удачно вырвался из белогвардейских лап.

Беспокойные, тревожные мысли, однако, начинали точить мозг: далеко уезжаю я от моих дорогих друзей, жены и девочки; определят их настоящую фамилию—будут издеваться, расстреляют, а я и не буду знать об этом... Но другой голос говорил мне: «Ну, так что же, пусть расстреляют... Что значит их гибель перед гибелью тысячи красноармейцев, погибающих на фронте во имя великого дела, перед гибелью целой рати коммунистов, смело рвущихся в бой с контр-революцией. Ты остался жив и здоров, тебе удалось вырваться из хищных лап, и твой революционный долг теперь быть на посту, с честью выполнить свою работу. Не надо думать ни о близких, ни о друзьях,—перед тобой широкое, большое дело, только на него должны быть направлены все твои мысли, чувства и желания». Эти бодрые мысли не оставляли меня всю дорогу.

Снова далек я от самого себя, снова—маска, снова напряженность игры. Нужно все время показывать своему врагу, что я один из тех, которые ненавидят коммунистов, которые помогают рубить и расстреливать рабочих и крестьян, что я еду на Запад осквернить и оплевать Великую Русскую Революцию. Каждый шаг, каждое слово должны быть строго обдуманы, чтобы хитрый фабрикант и помещик не заметили, что я разыгрываю комедию,—и не на день, а на две недели. И только в каюте, огражденной от всех и всего четырьмя молчаливыми стенами, сбрасываю с себя маску, углубляюсь в самого себя. Сколько злобы и ненависти появляется тогда к этим «культурным» паразитам! Жалеешь, что «Чека» мало истребляла этих людей, которые не только ничего не давали нашему поколению, но разлагающей гнилью портили атмосферу, заражали других. Так одиноко просиживал я целые часы, обдумывая дальнейшую тактику обращения с людьми, с ко-

торыми ехал. Чувствуешь, что маска твоя только тогда будет сброшена окончательно, когда встретишь авангард пролетарской армии. Из каюты выхожу другим человеком: где нужно—бросаю улыбку, внимательно слушаю болтовню старого глупого генерала, становлюсь «своим человеком» в этой архибуржуазной публике... Фабриканты, помещики, адвокаты, консулы, послы, назначенные Деникиным, англичане, французы и проч.,—все охотно беседовали со мной. Тема, большей частью одна: «Скоро ли разобьют большевиков и скоро ли будет взята Москва?». Большинство уверено, что большевики продержатся недолго. Только один англичанин, прекрасно говоривший по-русски, питерский фабрикант, доказывал противное: «Большевиков не так-то легко победить. Деникинская армия ничего не стоит. Только интервенция регулярных частей Антанты может ослабить Красную армию»,—говорил он. Французский консул из Румынии был с ним согласен.

Меня все знали здесь, как журналиста-иностранца, долго жившего в России, и когда ко мне обращались с политическими вопросами, я старался лавировать и не соглашаться ни с тем, ни с другим мнением, а выставлял среднее.

Кстати, опишу моего генерала, которому я был многим обязан. Это был 60-летний старик. Стройная фигура, седые, как видно, подкрашенные усы, морщинистое, тщательно выбритое лицо, стеклянные мутные глаза, очевидно, от разврата и пьянства. Генеральская форма придает ему величественный вид: мундир блещет новизной, на груди много знаков «отличий», даже от Деникина есть какой-то орден. Но этот важный по внешности генерал был, в сущности, даже глупый, недалекий человек. При умелом подходе из него, как из лимона, можно было выжать все, что угодно. Немного нужно было употребить усилий, чтобы он меня полюбил. На палубе он ходил только со мной, только со мной по душе рассуждал о политике. Я ему доказывал, что большевики плохи, но Деникин еще хуже. Зная его большую осведомленность о всем происходившем в деникинской армии, в деникинских городах, на Украине, я приводил факты зверского издевательства белогвардейцев с массовыми расстрелами, погромами еврейского населения, истязаний помещиками крестьян; народ за все это против Деникина, и люди цивилизованных стран, где так развита культура, не могут поддерживать всю эту политику. Генерал доказывал мне противное, говоря, что он только-что едет из деникинской ставки, что Деникин дал ему много секретных документов, которые доказывают, что евреев бьют потому, что они сами виноваты. Чтобы убедить в этом, он приглашает меня в свою каюту и показывает мне все секретные документы, предварительно взяв с меня слово, что этого я никому не передам. С каким тайным удовольствием прочитал я все документы, которые после меня будут читаться военным министерством!

Один из первых документов гласил, что в Киеве состоялось тайное заседание руководителей сионистов, на котором решено

было единогласно поддерживать большевиков. Я не знаю, как я удержался, чтобы не расхохотаться: сионисты—буржуазная партия, куда входят крупные еврейские купцы и фабриканты, которые поддерживали то немцев, то французов, то Деникина, то Петлюру и, как и вся буржуазия в целом, относились к большевикам с ненавистью. Деникину во что бы то ни стало нужно было доказать европейским министрам, что в России даже еврейская буржуазия поддерживает большевиков.

Другой секретный документ рассказывал о том, что т. Ленин и другие товарищи получают от Германии миллионы золота.

Генерал показывал мне также кучи фотографических снимков с трупов расстрелянных большевиками граждан.

Весь этот «серьезный материал» генерал самым серьезным образом собирался докладывать своему правительству.

Этого старого ребенка можно было широко использовать для наших целей.

Между тем пароход наш двигается все вперед. Останавливаемся на несколько часов в одном из болгарских портов. Генерал предлагает мне пойти с ним погулять по городу. Я с удовольствием соглашаюсь. Что бросилось мне сразу в глаза, от чего я чуть не подпрыгнул от радости, это—большие плакаты, красные знамена болгарской коммунистической партии. После деникинского кошмара, после пережитого трудно было описать мой восторг. Хотелось уйти, убежать от этого идиота-генерала, одному погулять по городу. Но некоторое время я остаюсь с ним. Зато, проводив его на пароход, с какой радостью побежал я обратно. Хотелось скорей передать им привет от имени русских рабочих и крестьян, от имени Коминтерна. Разыскиваю клуб компартии. Поднимаюсь по грязной лестнице в небольшую комнату, наполненную рабочими и работницами, шумно спорящими между собой. На столе масса книг для продажи. Тут и книга Бухарина («Азбука Коммунизма»), и Ленина и др. Забираю несколько экземпляров с собой. Я заявляю, что мне нужно повидать секретаря. За ним посылают. Прошу у него уделить мне наедине несколько минут для беседы. И вот в отдельной комнате я сообщаю ему, кто я. Он от радости не знает, что со мной делать. Позвал еще двух ответственных работников, и все вместе засыпают меня вопросами. Главный вопрос: «когда Деникин и все белогвардейские банды будут уничтожены?».

Передаю им письменный привет болгарским товарищам от имени Коминтерна и спешу на пароход.

Едем дальше. Близок Константинополь. Генерал предупреждает меня, что в Константинополе будет большой контроль итальянцев, французов и англичан. Он советует мне не выходить, а дать ему паспорт, и все необходимые формальности он выполнит сам. Я, конечно, с удовольствием соглашаюсь на это.

Приезжаем в Константинополь. Пароход стоит здесь 2 дня. Генерал, французский консул, английский фабрикант (мои «друзья») предлагают мне вместе осмотреть город. Я принимаю приглашение,

зная, что среди них я буду в безопасности среди шпиков, шныряющих повсюду. Сразу чувствуется, что мы входим в турецкий город, что хозяева здесь—англичане и французы. Город переполнен солдатами всех национальностей,—здесь и европейцы, и негры, и монголы, и среди них—турки с грустными лицами. С раннего утра до позднего вечера гуляем мы по городу, осматриваем достопримечательности, покупаем на память турецкие безделушки. Генерал угощает нас ликером, восхищается красивыми турецкими женщинами, которые, по его мнению, так заглядываются на него... Немудрено: какие шпоры, погоны, нашивки! В струнку вытягиваются перед ним солдаты, на которых он не обращает никакого внимания, занятый совершенно другим. В этом городе он чувствовал себя хозяином, был весел и доволен.

Под разными предлогами отказываюсь я от предложения отправиться с этой компанией в увеселительные места. Мне было мучительно тошно среди этих людей. Хотелось скорей прибыть туда, куда еду, чтоб узнать, какова сила тех, на которых столько надежд возлагает наша рабоче-крестьянская страна, от которых ждем реальной поддержки.

И вместо того, чтобы отдаться этим мыслям, приходится заниматься глупейшей болтовней, которая страшно утомляет. Нужно было иметь железную волю, чтоб не выдать себя.

По истечении двух суток снова продолжаем свой путь. Я знал, что генерал может дать мне ряд рекомендаций. Но как эти рекомендации получить? Просить неудобно. Нужно было действовать тонко, подумать о создании соответствующей обстановки, соответствующей атмосферы. Зная, что генерал не прочь выпить, учитывая при этом и игривость его настроения в связи со знакомством его с одной немкой, я решил пригласить его к себе на шампанское—решил как следует отблагодарить его за все внимание и за всю помощь, какую он оказывал мне в дороге. Приглашение мое было принято. На пустую, бессодержательную болтовню уходят целые часы. Шампанское, шутки, остроты и смех. Я пью мало. Я выжидаю момент, когда генерал дойдет до последнего градуса. Вот он уже совсем пьян. Тогда я нахожу своевременным сказать ему:

— Вы знаете, мой генерал, я думаю заехать в Рим.

Он порывисто вопрошает:

— Ведь у вас там нет знакомых?..

Я отвечаю отрицательно.

— Я вам дам к моим хорошим друзьям—французам и итальянцам—свои карточки с рекомендациями и, если вам понадобятся серьезные услуги, через них вы всегда их получите.

И тут же он пишет рекомендательные письма, дает несколько своих визитных карточек.

Все, что было нужно, я получил от генерала. Больше он меня не интересует. Если бы Деникин узнал, кому были даны эти рекомендации, он бы, наверное, умер от разрыва сердца.

Когда мы прибывали в порт, нас—меня с генералом, который до конца путешествия был моим добрым союзником—моментально пропускали, не проверяя ничего: генерала пропускали потому, что он был генерал, меня—потому что я был с генералом...

Мы вдвоем представляли собой поистине оригинальную пару. Два человека с противоположных полюсов. Он—представитель прогнившего капиталистического строя. Я—представитель нового веяния, которое вырывало с корнем буржуазию.

Прощаясь, мы обмениваемся взаимным обещанием не забывать друг друга. Конечно, я не мог забыть его.

Первые встречи с итальянскими коммунистами.

Схожу с парохода, направляюсь на станцию железной дороги. Сколько радости от сознания, что я один, что подле нет ни генерала, ни послов, ни консулов,—не нужно играть комедию, можно быть самим собой. Сажусь в чистенький и прекрасно оборудованный вагон 1-го класса. Все спутники недурно выглядят, видно—это итальянские буржуа. Постепенно завязываются общие разговоры. Говорят о коммунистах, о революциях, об общем кризисе, приходят к заключению, что во всем этом виновата Россия. Узнав, что я из России, меня засыпают целым каскадом вопросов. Первый и наиболее интересующий всех вопрос: «Скоро ли Деникин возьмет Москву?». Туманно отвечаю, что «все возможно на этом свете». Всеми силами стараюсь быть незаметным, не втягиваться в разговор. «Будь настороже»,—говорю я самому себе. Наконец, утром прибываю в Рим. Мне, простому рабочему, приходилось черпать сведения о Риме, об этой славной древней столице римлян, городе Цезарей, католицизма, Гарибальди, только по книжкам. Я никогда не мечтал о счастье воочию увидеть все эти роскошные картины; но судьба решила иначе, и я в Риме.

Останавливаюсь в хорошей гостинице. Немедленно иду в парикмахерскую, снимаю бороду, надеваю очки, и, наконец, становлюсь тем, кем был раньше. В первые дни стараюсь ни с кем из революционной среды не встречаться. Знаю, что за новичком-иностранцем, особенно из России, сильнее надзор, больше шпионов. Хожу по музеям, по театрам. Увлекаюсь Колизеем. С думами, навеянными стариной, остаюсь здесь целыми часами. Какие роскошные, красивые ночи проводил я здесь! Нужно быть поэтом, чтоб хоть приблизительно передать тот восторг, то грандиозное впечатление, которое произвел на меня «старый» Рим. Знакомясь с Римом, захожу и в рабочие кварталы. Почти на каждой стене вижу, надписи: «Да здравствуют большевики! Да здравствует Ленин, Троцкий!». С какой жадностью впивался я в эти буквы, не веря своим глазам. «Неужели,—спрашиваю я самого себя,—мы пробили брешь в этот далекий старинный город?..». Как приятно было чувствовать, что мы сильны, что наша идея непобедима.

Жадно набрасываюсь на газеты и между строк читаю, что Деникина бьют, — бьет наша доблестная Красная армия. Не сдерживая своей радости, как сумасшедший, лечу на извозчике домой, в гостиницу. Извозчик смотрит на меня с удивлением. Странные эти римские извозчики. Первое время мне казалось, что это сам хозяин со своим экипажем: мягкая шляпа, крахмальный воротничок, одет чисто, вид представительный. Однажды спрашиваю одного из них, собственный ли это экипаж и лошадь, или нет.

— Какой чорт собственный! Зарабатываю не больше 25 лир в день,—спокойно отвечает он.

Спрашиваю также, есть ли у них синдикат (союз).

— Есть, но никуда не годится. Хотели забастовку устроить, но они запретили.

— А большевиков у вас много?—интересуюсь я.

Он сразу делается серьезным, косо смотрит на меня и отвечает не сразу.

— Да, синьор, теперь нет ни одного бедняка, который не был бы большевиком.

— В России очень плохо живется,—продолжаю я.

— Знаю, что плохо, но не всем. Вот богачам, наверное, плохо живется, а беднякам нет (во мне он видел буржуа...). Как мне хотелось открыть ему, кто я, сказать, что он ошибся, приняв меня за богача... Но другой голос останавливал меня: «Радуйся пока молча тому, что даже извозчики, — непромышленные рабочие,— и те большевики».

Но довольно восхищаться красотой и великолепием Рима,— нужно приняться за серьезную работу! Я решил немедленно увидеться с лидером партии. Я не мог понять, почему партия социалистов, присоединенная давно уже к 3 Интернационалу, продолжает называть себя социалистической, а также и того, что в партии есть реформисты, резко выступающие против революционной тактики. Желая все это уяснить, направляюсь в редакцию центрального органа «Avanti» (по-русски «Вперед»), спрашиваю секретаря,—его не оказалось. Тогда меня знакомят с секретарем парламентской фракции, Ладзари. Узнав, кто я, он радостно пожимает своей старческой рукой мне руку, и все-таки спрашивает мандат. Мой мандат написан на маленьком куске полотна, который можно пришить куда угодно. Он читает и смеется:

— Молодцы вы, русские, даже в хранении мандата у вас есть своя «хитрая механика».

Затем он расспрашивает о том, что делается сейчас в России, скоро ли мы уничтожим Колчака и Деникина. Я уверенно отвечаю, что скоро. Он рассказал мне, как во время войны он долго сидел в тюрьме за то, что выступал против войны. И, наконец, мы уславливаемся—когда встретимся в другой раз. Он из'являет согласие познакомить меня с секретарем центрального комитета партии Бомбачи.

В назначенное время я прихожу, знакомлюсь с Бомбачи, тот обнимает и целует меня.

— В вашем лице целую весь русский пролетариат и всю русскую коммунистическую партию!

Я растроган до слез. Из разговора улавливаю, что оппортунизм раз'едает их партию. Руководители—не таковы, как мы их себе представляли. Он предлагает познакомить меня со старым русским товарищем Виз.., который хорошо осведомлен о политике и действиях руководителей партии. Между прочим, он сообщает о с'езде партии, назначенном в Болонье.

— Мне бы очень хотелось, чтобы вы выступили там от имени Коминтерна,—говорит он.—Вообще вы нам очень нужны. Да и не только нам, итальянцам, но и французам. Вы—первый, который можете передать нам свежую весточку от наших русских товарищей.

После беседы решаю устно на с'езде не выступать, а написать декларацию, прочитать которую берется Бомбачи.

Тов. Виз.., о котором говорил Бомбачи, меня очень заинтересовал, и я из'являю желание немедля с ним познакомиться. И через два дня мы с ним уже сидели в кафе и долго-долго беседовали на своем родном языке. Я сразу почувствовал, что имею дело со старым большевиком, хорошим марксистом. Он развернул передо мной ужасную картину.

С одобрения т. Виз.., я окончательно решаюсь написать от имени Коминтерна декларацию для с'езда партии. Я спрашивал себя, имею ли я право выступать печатно от имени Коминтерна — даже и в столь исключительный момент, когда блокада и гражданская война разделили наших товарищей и трудно наладить сообщение? Здесь я вспомнил, как в 1909 году в Париже, уезжая в Россию на партийную работу, я спросил т. Ленина:

— Если, т. Ильич, я прибуду в город, где никого из партийных товарищей комитета не будет, но есть возможность выпустить к рабочим прокламацию от имени комитета,—имею ли я на это право?

— Да,—отвечал он,—пока вы не организуете комитет, вы можете так поступать во имя общих интересов.

И теперь я не хотел подходить к такому делу формально, зная, что ни писем, ни директив я ниоткуда не получу. И декларацию я написал. Т. Бомбачи огласил ее на Болонском с'езде. В ней я сказал приблизительно следующее: «Русская рабоче-крестьянская армия приветствует вас. Она ждет от вас помощи. Вы сделали громадный шаг вперед, войдя в Коминтерн, но вы должны сделать большее—должны выбросить из своей партии всех реформистов и об'явить ее коммунистической, чтобы рабочий класс ясно увидел, что вы окончательно порвали всякую связь со II Интернационалом».

Пролетарское большевистское чутье меня не обмануло,—декларация прошла успешно. Только Серрати отнесся к ней подозрительно и, как редактор центрального органа «Avanti», отказался ее напечатать. Ему нужно было предварительно переговорить

со мной. Я назначаю ему свиданье у себя и с большим любопытством жду его. Я чувствовал себя таким маленьким-маленьким перед этой знаменитостью... Наконец, Серрати приходит. Он одет во фрак, здоровается сухо, бормоча, что очень рад со мной познакомиться. Немедленно приступаем к делу. Он начинает меня уверять, что декларацию полностью напечатать нельзя и что я не знаю ситуации в Италии, реформисты которой очень похожи на коммунистов. Я старался убедить его в противном. Во время спора я вскоре почувствовал, что хотя я выходец из пролетариата и университета не кончил, но в вопросах политики стою выше этого человека, который не понял ни русской революции, ни всего того, что переживает европейский пролетариат. Через Бомбачи вопрос о напечатании декларации был внесен в ЦК партии, и только последний заставил Серрати напечатать ее.

Однажды мы собрались на совещание—Бомбачи, Дженари, Виз... и я. Бомбачи дрожащим от волнения голосом заявляет мне:

— Товарищ, только вы можете спасти положение. Бывший глава министерства Нитти очень секретно предложил нам, социалистам, принять участие в парламентском перевороте с об'явлением демократической республики и отстранением короля. Серрати почти соглашается на это. Завтра на заседании ЦК партии вопрос этот окончательно решится. Я бы очень хотел знать ваше мнение для оглашения его на заседании.

Я высказался приблизительно так:

— От имени Коминтерна вы можете сказать ЦК партии, что принять участие в этом перевороте—значит изменить рабочему классу, что недопустимо. Такие «революции» затемняют классовое революционное сознание рабочих масс, а при данной ситуации безразлично, кто будет сидеть на троне—Нитти или король.... Лучше поэнергичнее двинуть революцию снизу, чтобы и король, и представитель фабрикантов и помещиков были уничтожены. А в итоге об'явить диктатуру пролетариата.

Это мнение, как я узнал впоследствии, имело в ЦК партии решающее значение.

Начинаю обдумывать мою поездку в Париж, где—я чувствовал—буду нужнее. Только масса препятствий в деле получения французской визы заставила меня здесь задержаться на некоторое время. Случайно попадается мне коммунистическая газетка «Ордине Нуове» под редакцией Грамши, выходившая в Турине один раз в неделю. Я очень заинтересовался ею,—правильность позиции ясно чувствовалась в каждой строке,—и через тов. Виз... я попросил Грамши приехать в Рим. Он немедленно приехал. Это был удивительно интересный товарищ. Маленький, горбатенький, большая голова (словно не его), умные, глубокие глаза. Он спокойно анализирует ситуацию в Италии, в каждой мысли обнаруживая все глубоко-продуманное марксистское миросозерцание.

В городе Турине, как в одном из промышл. центров Италии, очень важна была постановка газеты, аналогичной газете Грамши,

хотя Серрати и еще какой-то русский товарищ, под псевдонимом Николини, были страшно им недовольны и путем печати старались выявить свое возмущение. Но задушить ее они не могли,—она была силой в своем роде. В скором времени газетка эта стала центральным органом Коммунистической партии Италии. Я не ошибся, почувствовав в ней тот коммунистический дух, какого не было ни в одной из газет Италии.

Рекомендации генерала дают блестящие результаты: они устраивают мою поездку в Париж, и в конце марта я покидаю Рим.

Новые люди, новая работа, новые мысли.

Зачатки коммунистической партии во Франции и рабочее движение.

В поезде, на досуге, вспоминаю жизнь в Париже до Февральской революции. Как живые, встают в памяти отдельные товарищи. Вспоминаю, как в 1914 году мы распространяли нашу газету «Правду», как, умирая с голоду, мы принуждены были за два франка мыть стекла богатых магазинов, как в империалистическую войну наша единственная фракция большевиков заняла решительную позицию против войны. Эта горсточка товарищей, сплоченная, крепко спаянная между собой, делала все возможное, чтобы наши идеи проникли и укрепились в сознании французского рабочего класса. Вспоминалась тов. Инесса (псевдоним) своим грустным лицом, когда она приехала к нам из Швейцарии с книжкой Зиновьева и Ленина «Война и социализм». Какого труда стоило нам ее нелегальное печатание и распространение. Вспомнился и наш учитель Плеханов, его измена. Он жил в то время в Париже и призывал русских революционеров итти добровльно во французскую армию во имя защиты «цивилизации от варварства». Как было тяжело нам, рабочим, слышать такие призывы от нашего учителя! Встает в воображении и Н. В. Сапожков, видный член нашей коммунистической партии. Под влиянием II Интернационала он добровольно идет в армию и через некоторое время убеждается в том, что сделал большую ошибку. И уже раненый, лежа в больнице, он просит меня наготовить брошюр Зиновьева и Ленина для распространения между французскими солдатами. За 10 дней до революции он гибнет от пули,—может быть, члена германской социал-демократической партии. Он не дожил до того счастливого дня, до которого дожили мы. Вспоминается и т. Седой, который не сразу, а лишь через два месяца по об'явлении войны добровольно вступил в армию. Он говорил, что там, в траншеях, среди французских солдат, своей агитацией он может принести больше пользы. Вот почему он не мог спокойно сидеть дома, когда решалась судьба Интернационала. Как известно, Седой был одним из руководителей вооруженного восстания 1905 года в г. Москве. Воскресает в памяти и еще целый ряд товарищей.

Приезжаю в Париж. Первой задачей было узнать о тех товарищах, которые меня хорошо знали. Стараюсь быть незаметным для г-д Бурцева и Алексинского, везде и всюду распространявших обо мне ложные слухи, что я собственноручно расстреливал не больше не меньше, как по 17 евреев в день. Это заставило меня быть осторожным.

Устраиваюсь в Вокресоне, недалеко от Парижа. Это—дачное место, связанное с событиями 1871 года: когда коммунаров гнали в Версаль, здесь буржуазные дамы шпильками выкалывали глаза, издевались над ними. Я надеялся, что в этой буржуазной местности мне удастся избежать слежки шпионов. На первом свидании с французскими товарищами узнаю, что ни газет, ни журналов еще нет, что в парламенте на 60 человек депутатов всего только три коммуниста. Во главе этих трех был молодой, энергичный товарищ Вайян-Кутюрье, с ним друг его—Лефевр, не депутат. Позволю себе кратко коснуться их обоих, тем более, что впоследствии мне приходилось много с ними работать. Кстати, дам картину и наших совещаний.

Вайян-Кутюрье только после войны стал коммунистом. Это был один из друзей писателя Анри Барбюса. Вместе сражаясь в траншеях, они убедились в том, что капиталистический строй должен быть сброшен вооруженной рукой.

Лефевр пользовался большой популярностью среди французских рабочих. Популярность эта возросла особенно после того, как на с'езде партии он сказал, что Пуанкаре заслуживает «благодарности» от французского народа и что благодарность эта должна выразиться в том, чтобы всадить ему 12 пуль. Вся буржуазная пресса требовала ареста Лефевра, и полиция не оставляла его в покое. Но он был настолько предан рабочему классу, что не считался ни с чем. Припоминаю первую встречу с ним. Это было в большом магазине Лувра, где тысячная толпа раскупала наряды. Перед моими глазами стоял высокий мужчина, немного согбенный. По внешнему виду он не похож был на обыкновенного француза,— его скорей можно было принять за русского нигилиста, чем за французского интеллигента: запыленная, смятая шляпа, неряшливо надетый галстук, стоптанные башмаки. Встреча наша была удивительно теплая. Пожимая руку, он сказал мне:

— Я счастлив видеть первого представителя революционной России. Рабочий класс Франции чувствует и сознает свою вину перед русской революцией. Его руками делались пушки и снаряды, чтоб помочь Колчаку и Деникину уничтожать русских рабочих. Но французский рабочий долг свой еще выполнит.

Чтобы поговорить свободнее, он пригласил меня на одну квартиру, где должны были собраться его товарищи. Он берет автомобиль, сообщает шоферу адрес. Оказалось, что мы направляемся в дом одного французского сенатора.

— Не пугайтесь,—говорит мне Лефевр,—сам сенатор, конечно, большой реакционер, но зато сын его, немного побывавший в тран-

шеях, нам сочувствует. Мы будем в комнате сына, и шпионы никогда не подумают, что у представителя верховной власти заседают коммунисты. Там же я познакомлю вас с моим лучшим другом, депутатом Вайян-Кутюрье.

Я с большим нетерпением ждал встречи с Вайяном; я столько о нем слышал хорошего, что мне хотелось скорей с ним познакомиться и поговорить.

Не доезжая до дома сенатора, Лефевр останавливает автомобиль, и мы идем дальше пешком. Входим в богатый парадный под'езд, где на вытяжке стоит швейцар. Всюду ковры. На лифте поднимаемся наверх. Входим в роскошную квартиру, где молодой человек, сын хозяина, нас радостно встречает и ведет в свою комнату. В этом наивном и искреннем человеке так и чувствовался «папенькин сынок».

Колоссальное впечатление производит на меня Вайян-Кутюрье. Длинная шевелюра, красивый лоб, умные глубокие глаза. Во всем, что он высказывает, в самой манере говорить чувствуются большая сила воли и масса энергии. Не лишен он, однако, и чисто французского романтизма.

На совещании товарищи рассказали, как идет у них работа. Большой популярностью пользуются русская революция и Коминтерн. Активной силы для развития рабочего движения нет. Лорио был хорош только на Циммервальдской конференции, когда руководил маленькой группой, но рабочим движением он руководить не способен. Обсуждалось и много других вопросов, которые сейчас трудно припомнить. Расспрашивая меня о России, участники совещания с жадностью ловили каждое мое слово. Особенно интересовались «Чекой», наивно расспрашивая о тех небылицах, которые распространяла буржуазная печать. Возбудили вопрос о Садуле, который был приговорен тогда во Франции к смертной казни,— можно ли сказать про него, что он мог бы быть лидером коммунистической партии Франции.

Назначаем следующее совещание. Наладить конспиративную квартиру берусь я, зная, что французские товарищи вообще в конспирации не изощрены и не имеют ни малейшего понятия о подпольной работе.

Автомобиль товарищей Митковицера (погиб с Лефевром) и Лебедева всегда был к нашим услугам. Ежедневно выезжая в город на работу, товарищи эти, преданные нам душой и телом, успешно выполняли все наши задания. Они приезжали на указанную улицу, спускали флаг, чтоб показать, что автомобиль занят, и ждали наших товарищей. Правильно сказанный пароль, известный только нам, давал право сесть в этот автомобиль, который и направлялся тогда в конспиративную квартиру. На следующее совещание собрались: Монат, Лорио, Суварин, Раппопорт, Лефевр, Вайян-Кутюрье и ряд других товарищей. Опишу тех из них, с которыми мне пришлось здесь впервые познакомиться.

Лорио—немолодой, высокий человек с потухшими глазами. Нервозность чувствуется в каждом его жесте, во всем его существе. Я сразу определяю, что это—человек не очень крупного калибра.

Монат—небольшого роста, широкоплеч, умное, энергичное лицо. По убеждениям он—революционный синдикалист и, как видно, не долюбливает Лорио. Когда Лорио грубо напал на синдикалистов, Монат схватил шляпу и выбежал.

На совещании обсуждался вопрос о расширении пропаганды и издании газет. После предварительного обмена мнениями решаем энергичнее приняться за издательство бюллетеня «Коммунист», который будет выходить еженедельно. Работа предстояла большая. Только нужно было расшевелить тех работников, которые имелись...

Приближалось 1-е мая—великий интернациональный праздник. Теперь парижский рабочий был уже не таков, каким я его оставил в 1917 году. Тогда в нем был силен шовинизм; главным, почти единственным врагом считался немецкий народ; руководили всем этим настроением члены социалистической партии Ренодель и Гед. А ныне вполне очерченное революционное настроение масс определенно чувствовалось на каждом шагу. Большевизм перестал уже служить символом варварства, как характеризовали его ранее все продажные газеты, а являлся светочем борьбы против буржуазии. С быстротой молнии распространяются все новости из России.

Сколько сочувствия и внимания к русскому революционному движению, ко всем русским товарищам! В этом я окончательно убеждаюсь на совещании с представителями крупнейших союзов—металлистов и каменщиков. Товарищи Вержа и Лепти, погибшие после II конгресса в Мурманске во время нелегального переезда из России, рассказывали, что трудно найти такого рабочего, который не почел бы за счастье быть большевиком. Всю силу рабочих масс можно было почувствовать на грандиозном празднике 1-го мая. Дальнозоркое правительство сконцентрировало в Париже самые отборные войска. По крышам домов были размещены пулеметы. Весь город буквально превратился в военный лагерь. Так правительство позаботилось о «порядке» в день 1-го мая. Социалистическая партия с руководителями синдикатов призывала рабочих не устраивать демонстраций. И только группа коммунистов с революционными синдикалистами обратилась к массам с призывом манифестировать в день международного праздника. Поезда, трамваи, фабрики, заводы,—все остановилось в этот день. Хотя идеи коммунизма не совсем были еще ясны рабочим, но они смутно сознавали, что только путем коммунизма можно победить своего классового врага. На площади Республики демонстрировало около 10.000 рабочих. Во главе этой массы находилась наша маленькая группа депутатов-коммунистов, с Вайян-Кутюрье во главе. Начинаются избиения с той и другой стороны. Узнаем, что на бульваре Осман рабочие пробрались в оружейные магазины и моментально разобрали все оружие. На полицейских, шныряющих по улицам,

из окон летят цветочные плошки, льется кипяток. Более 100 этих блюстителей порядка было ранено, несколько убито. Буржуа самому приходилось править омнибусом. При выезде на улицу его встречал град камней и, несмотря на 2 жандармов, охраняющих его, он летел в сторону со своим омнибусом. Много жертв было и со стороны рабочих. Вместо того, чтобы сейчас же развить это движение, «руководители» вместе с буржуазией сделали все, чтобы придушить его, и на другой день только железнодорожники не вышли на работу. Они требовали национализации железных дорог. Наши товарищи на митингах указывали железнодорожникам, что при буржуазном строе требование национализации дорог не является идеалом и что не в этом должен заключаться наш боевой лозунг,—только диктатура пролетариата может улучшить положение рабочего класса. Мы ждали, что центральный орган союзов для поддержки железнодорожников об'явит всеобщую забастовку, но г-н Жуо вместо того повел очень тонкую и хитрую политику. Уже за 2 дня до забастовки он об'явил, что трамвай остановится, если требования железнодорожников не будут удовлетворены. За эти два дня буржуазия прекрасно организовала штрейкбрехеров. И это повторялось несколько раз. Такими хитрыми приемами он сознательно срывал забастовки. Тов. Вержа мне рассказывал, что на одном заседании раз'яренные рабочие хотели сбросить Жуо с 4-го этажа, и только единомышленники спасли его от этого. Вот до чего доводили рабочих эти изменники. Конечно, забастовка окончилась поражением, и десятки тысяч рабочих были выброшены на улицу. Я говорил тогда товарищам, что это поражение послужит лишь уроком рабочему классу: они научатся различать, кто их друг и кто враг, и поражения эти не только не разобьют сил коммунистов, но, наоборот, укрепят.

И как показали дальнейшие события, коммунистическая партия была близка к тому, чтобы стать во главе рабочего движения.

После поражения первомайской забастовки буржуазия во главе с вождем министерства, бывшим социалистом Мильераном, набросилась на левых руководителей, при поддержке желтых; они арестовали самых лучших работников: Лорио, революционного синдикалиста Монмуссо и ряд других товарищей. Газеты подняли страшный вой по поводу того, что руководители якобы «продавались» большевикам. Буржуазия по личному опыту думала, что любого журналиста можно подкупить, хотя знала, что вожди коммунистической партии не способны на предательское дело.

Между тем я знаю, что господа Бурцев и Алексинский хорошо осведомлены о моем пребывании в Париже. Узнать об этом было легко: на улицах, в трамваях я часто встречал то меньшевиков, то эс-эров, знавших меня лично, и с некоторыми из них я порой подолгу беседовал. Назревала серьезная слежка за мной. Нужно было насторожиться.

А пока я все-таки продолжал работать. На целом ряде совещаний с товарищами Вайян-Кутюрье, Лефевр и Вержа договари-

ваемся о необходимости издания коммунистической газеты «Пролетарий». По французским законам нам нужно было найти такого издателя, который мог бы об'явить, что газета издается на его личные средства. Задача эта была не из легких, но, благодаря энергии Лефевра, человек такой был скоро найден. Это был известный писатель Барбюс, вполне сочувствующий нашим идеям. Но и после этого приступить сразу к изданию мы еще не могли: нехватило средств, а чтоб найти их, требовалось время. Между тем слежка за мной усиливалась. Я хорошо знал тактику французских шпионов. Они не арестовывали тотчас же, а предварительно старались узнать, где бывает данное лицо, с кем встречается, чтобы сразу захватить всех. Зная это, я не спешил выбраться из Парижа, а продолжал жить, заметая свои следы. Часто, возвращаясь с совещаний, я замечал шпионов, подозрительно оглядывавших меня. Я делаю вид, что ничего не замечаю, и медленным шагом иду вперед. Сажусь на первый попавшийся автомобиль и еду по направлению к театру, но в театр не захожу, а медленно направляюсь в свою квартиру. Обыкновенно шпики записывают № автомобиля, затем вызывают шофера и спрашивают у него, где он взял пассажира и куда отвез. В данном случае шофер мог сказать, что отвез меня в театр. Так я часто увертывался от преследования.

Конспиративная квартира моя была тогда у одного французского рабочего в Каргане, недалеко от Парижа. Не без риска принял он меня к себе и часто скрывал от преследования шпионов. Это был немолодой рабочий, каменщик, бывший анархист. В молодости он сидел по тюрьмам и Германии, и Швейцарии, и Франции. Теперь он—ярый коммунист; предана коммунизму и жена его—простая крестьянка. В этой семье происходили многие из наших совещаний. Сам рабочий принимал деятельное участие во всех наших спорах и суждениях и своим пролетарским чутьем разбирался в вопросах куда лучше других товарищей. Семья эта дарила мне много внимания и заботливости, и порой это было даже неловко; но все это внимание относилось скорее не ко мне лично, а как к представителю революционной России.

— Вы не беспокойтесь, если будут стучаться ночью,—говорил мне товарищ.—Я полицию не впущу до тех пор, пока не буду уверен, что вы вне опасности.

Я располагал секретным ходом, откуда можно было безопасно скрыться.

В июне 1920 года в Москве был назначен 2-й конгресс III Интернационала. Французские делегаты должны были тоже присутствовать на нем. Хотя аресты разрушили большую часть нашей работы, но мы все-таки имели еще преданных товарищей, которых можно было послать в Москву. Зная, что дорога до Москвы ужасная, что пробить блокаду очень трудно, мы пускались на всякие хитрости. Узнаем, напр., от бельгийских товарищей, что они готовят пароход с русскими пленными для отправки в Россию.

Нужно было постараться устроить на этом пароходе наших французских товарищей. В Булонском лесу назначаем последнее совещание в присутствии Вержа, Митковицера, Лепти и Лефевра. Выясняем, что проезд в Бельгию не так труден. Для более успешной организации от'езда поручаем Митковицеру пробраться сначала одному в Бельгию, чтобы там позондировать почву. Тот соглашается и через 2 дня дает нам условную телеграмму, что назначенные—тов. Лефевр и другие могут приехать. В Москве мне удалось узнать от них, что Митковицер очень удачно организовал их от'езд на этом пароходе.

Мне лично тоже нужно было быть на этом конгрессе, но я пока еще не торопился. Однажды, сидя в своей конспиративной квартире и пересматривая газету «La Victoire» г-на Эрве, вижу на первой странице под большим заголовком статью, суть которой сводилась к следующему:

«При аресте известного большевика Деготя было найдено бриллиантов на 10 миллионов франков». Тут же точно описывают мою биографию, мою деятельность в Одессе, рассказывают, что я приехал из Лондона, где видел Красина, который и вручил мне эту сумму. Статье нужно было придать политический характер: вот почему к моему имени нужно было еще приплести имя Красина. Как видно, французская охранка настолько была уверена, что я буду взят, что, не дождавшись моего ареста, поспешила сообщить об этом в газете.

Надо было немедленно решить вопрос, уезжать ли из Парижа тотчас же, или еще оставаться. Если уеду, я могу быть в пути арестован; останусь—может случиться то же самое. Наконец, решил поспешить в Москву на конгресс. Но как устроить от'езд? Опыт с генералом показал мне, что нужно действовать смело и решительно.

Для получения визы на выезд нужно было отправиться в центральную французскую полицию. Приглашаю с собой дочь рабочего, у которого я жил. Я знал, что, идя под руку с женщиной, я буду меньше заметен для шпионов: большевика они считали полудиким существом, которому чуждо светское обращение с женщиной. Смело вхожу в Центральный комиссариат. Я знал, что в этом «святом» месте за мною уже не будет слежки—где угодно, но только не здесь; у них и мысли не могло появиться, что я когда-нибудь осмелюсь зайти в самый центр их шпионажа.

— Что за удивительный народ вы, русские,—с дрожью в голосе говорила мне девушка.—Ведь здесь легче, чем где-либо, вас могут схватить, арестовать, убить на месте, а вы... вы лезете напролом, сломя голову. Неужели все русские таковы?

Среди целой массы полицейских пробираюсь во 2-й этаж. За получением виз—громадная очередь. Становлюсь в очередь и я. Наконец, подхожу к чиновнику и подаю свой паспорт. Он взял его, посмотрел и сказал—«завтра». Я немного опешил. Но, увидев, что он и другим говорит то же самое, я успокоился и уехал, где

меня ждали с нетерпением. На следующий день снова прихожу в Центр. комиссариат. Чиновник вручает мне мой паспорт... Затем я направляюсь к итальянскому консулу, чтоб получить визу для проезда через Италию. Визу получаю без всякого труда, и мой от'езд организован. Я забираю свои вещи и отправляюсь на Лионский вокзал. Дожидаясь отхода поезда, я захожу с французскими товарищами в одно большое кафе напротив вокзала. Читаю кадетскую газету «Последние Новости». Русские белогвардейцы то же говорят о моем аресте, о тех бриллиантах, которые будто бы найдены у меня... В душе одновременно смешно и тревожно; закрадывается мысль: «А что, если они сознательно выпускают меня за границу с тем, чтобы там меня легче взять, надеясь захватить секретные бумаги?..».

С такими тревожными мыслями я выехал из Франции. Дорога до Рима прошла благополучно,—и я опять в том славном городе, который успел так полюбить.

Приезд в Москву и встреча с т. Лениным.

Рим... Рим... Как легко на душе! Какой прекрасный народ эти итальянцы! Не чувствуется той лицемерной вежливости, которая заметна в Париже, в разлагающейся мещанской среде. Итальянцы прямые, в них есть что-то русское. Как радостно встретил меня товарищ Виз... Он думал, что я уже арестован и никогда не попаду в Рим.

Виз...—старый партийный польский работник, долго работавший вместе с тов. Дзержинским, интеллигент типа старых нигилистов, удивительно чуткий и преданный рабочему движению человек. Он долго сидел по тюрьмам, но зато пользовался большой популярностью в итальянской партии. В Москве я узнал от наших польских товарищей, что в лице его и польская партия имела всегда видного и деятельного работника. По наиболее серьезным вопросам я всегда обращался только к нему, только с ним и советовался. Долго оставаться в Риме я не мог,—нужно было думать о том, как пробраться дальше.

Так как генеральские связи оставались в силе, то мне легко удалось получить визу в Берлин: из Рима я мог свободно пробраться только в Берлин,—добиться визы прямо в Россию было невозможно. Через Берлин я думал проникну в Эстонию, откуда, казалось, в Россию я попаду без труда. Но, как часто случается в таких случаях, предварительно вырабатываемые планы разрушаются совершенно непредвиденными препятствиями. Приехав в Берлин, я думал тотчас же направиться на Ревель. Но Эстония, эта «маленькая собачка», ни в коем случае не хотела меня пропустить дальше: местный консул категорически отказал мне в визе, что было для меня совершенно неожиданным сюрпризом.

Я обратился к нашему представителю, который отправлял военнопленных в Россию, чтобы он устроил меня с ними. Через несколько дней я сидел на пароходе в г. Штеттине. Грязный,—так-называемый телячий,—пароход битком набит нашими русскими пленными. Мы ехали двое суток. Я никогда не забуду того, что видел и слышал на этом пароходе. Тут были и солдаты, попавшие в плен в начале войны, и красногвардейцы, рабочие, сражавшиеся на Украине во время оккупации ее немцами. Я слышал здесь душу раздирающие рассказы о том, как мучили пленных, особенно старых. Рассказывали, что в концентрационных лагерях, где находились тоже пленные французы и англичане, получавшие от своих родственников из «красных крестов» всевозможные посылки,—русские пленные ничего не имели и буквально умирали с голода. Из-за отбросов, выбрасываемых французами и англичанами, приходилось драться, чтобы хоть немного утолить голод. На этой почве солдаты других наций ужасно эксплоатировали русских. За кусок хлеба заставляли проделывать едва ли не то, что проделывали крепостные для помещиков. Все это побуждало русского бежать, куда глаза глядят. Немногие добрались к себе на родину,—большинство умирало по дороге, было расстреляно немецкими жандармами. Жизнь их улучшилась только после немецкой революции. А в то время это были не люди, а какие-то тени, измученные, издерганные, с желтыми лицами, с потухшими глазами.

Все оживляются, когда заходит речь о Советской России, о том, что сброшен кровавый режим. Жадно впитывают они все новости о своей родной земле, о том народе, сынами которого они являются. С напряженным нетерпением ждут они конца путешествия, чтобы увидеть то родное и близкое, от чего они были оторваны столько лет. В среде этой я был своим человеком. Все они знали, что я не так давно прибыл из России, а потому долго меня расспрашивали, и я много им рассказывал о нашей славной борьбе за свободу. Но вот пароход доплыл до Эстонии. Несколько верст до вокзала идем пешком по улицам небольшого города. При виде нас эстонская буржуазия хихикает и говорит: «Попадет вам в России!». Но в ответ ей несется чисто-русское «крепкое» слово... Наконец, мы садимся в советский поезд, переезжаем эстонскую границу и ночью в'езжаем в Россию. Какой прием оказали нам! Нас хорошо накормили, устроили грандиозные митинги. В ответ на приветствия, один из пленных, в свою очередь, приветствовал обновленную Россию от имени всех прибывших. Я сердечно прощаюсь со своими спутниками, обрадованный тем, что прибывает новый кадр работников для нашего пролетарского строительства. Они испытали уже на собственных спинах весь гнет буржуазного капитализма, и теперь это—настоящие патриоты Советской России, в противовес всей эмигрантской своре, кричавшей на всех перекрестках о своей любви к родине и в то же время вонзающей нож в спину русскому народу. Несмотря на все перенесенные страдания, они могут еще

положить свою голову за те идеалы, за которые борется весь русский пролетариат.

Я сажусь в другой поезд, который быстро умчал меня в Питер,— мне хотелось поспеть на конгресс Коминтерна. В Питере поехал в гостиницу «Интернационал», где останавливались все делегаты. Там, к сожалению, узнаю, что конгресс уже кончился. Я сговорился по телефону с т. Зиновьевым, и на следующий день он назначил мне свидание в Смольном.

Тов. Зиновьев видел меня только мельком в 1918 году на 3-м с'езде Советов. Но я знал его хорошо,—еще с 1909 года в Париже, когда он, Ленин и Каменев со мной занимались. С большим нетерпением ждал я встречи с ним. В назначенный час я прибыл в Смольный, и т. Зиновьев меня тут же принял. Он расспрашивал меня о том, что делается во Франции и Италии, интересуясь каждым работником в отдельности. Я передал ему статью тов. Грамши, которую захватил с собой. Наш разговор продолжался больше часу и носил чисто официальный характер.

По его просьбе, я должен был остановиться в Москве на 2 недели, чтоб дождаться его приезда и сговориться о дальнейшем использовании меня, как работника.

— Тем более, что Владимир Ильич захочет вас видеть,—закончил он.

При этом он дал мне письмо к т. Кобецкому, секретарю Исполкома Коминтерна, и я направился в Москву. В Москве я заехал в «Деловой Двор», переполненный делегатами всех рас и наций,— от китайца и араба до американца и француза. Когда я заходил сюда во время обеда, я слышал разговоры на всех языках. Так я дождался приезда т. Зиновьева. Затем, по моей просьбе, мне дали отпуск на 3 недели для того, чтобы повидаться с женой и дочерью. По пути в Одессу я остановился в Харькове,—в той самой гостинице, где находились мои французские товарищи—Митковицер, Вержа и Лепти, возвращавшиеся в Москву из Украины. Интересная встреча: после сообщения французских газет, уверенные, что я уже сижу где-нибудь во французской тюрьме, они буквально остолбенели, увидев меня. Тут же каждый из них бросается меня целовать. Они расспрашивают, как я выкрутился, как очутился в России. Я узнал от них, что Лефевр уехал в Москву и что они едут туда через два дня. По их просьбе, я остаюсь на это время в Харькове. Мне очень хотелось узнать, какое впечатление произвела на них наша Советская Россия. Вержа, революционный синдикалист, был уже не тот, каким я его оставил в Париже два месяца тому назад.

Остановлюсь немного на нем. Это—брюнет, низкого роста, с умным энергичным лицом. По профессии он рабочий-металлист, секретарь союза металлистов Парижа. Еще в Париже я почувствовал в нем что-то близкое нам, хотя у него был небольшой уклон в сторону анархизма. Здесь же он мне определенно сказал:

— Вы можете быть уверены, что первый, кто войдет в коммунистическую партию, это—я.

Другой товарищ, Лепти, был блондин, среднего роста, туберкулезный, нервный, по убеждениям—ярый анархист-коммунист, по профессии—каменщик, один из руководителей этого союза, прекрасный оратор, но от'явленный последователь Бакунина. Много неуравновешенного и путанного было в нем. Он никак не мог себе представить, каким образом рабочий класс после захвата власти может быть диктатором и иметь Красную армию. И даже в России эта путаница мыслей у него продолжалась. Вержа и другие товарищи издевались над ним. Но он, несомненно, переживал трагедию, чувствуя, что должен порвать с тем интеллигентским бредом, который ему вбили в голову Прудон и Бакунин под именем анархизма.

Я был у т. Раковского, который, расспрашивая меня об этих французских товарищах, сказал, что Лепти его очень интересует. Он готовил ему материал о милитаризации труда. Вместе с ним мы поехали в нашу гостиницу. Гостиница эта была довольно чистая, но вечера приходилось проводить почти без света, хотя в номерах и висели электрические лампочки. Раздобывали «гасик» и при таком свете работали. И смешно было видеть, как председатель Совета Народных Комиссаров и представители рабочих Франции сидят вокруг стола, спорят о декретах и материалах, врученных т. Раковским, и... почти не видят друг друга. Все прекрасно чувствовали, что перед ними не «председатель кабинета министров», а товарищ, который на своем русском опыте мог доказать, что Лепти еще болеет «детской левизной». На прощании т. Раковский сказал Лепти:

— Все-таки, когда начнется у вас революция, вы первый возьмете винтовку против своей буржуазии.

И всю ночь Митковицер, Вержа и Лепти спорили между собой.

Утром мы должны были раз'ехаться в разные стороны. Прощаясь, мы несколько раз обнимались, крепко-крепко жали друг другу руки, как-будто предчувствовали, что больше никогда не увидимся.

Здесь скажу несколько слов о тов. Митковицере, который играл видную роль в русском рабочем движении и не последнюю—во французском. Он был рабочим-переплетчиком; родился в г. Одессе. В 1903 году он выдвигается в зубатовской забастовке. Его арестовывают, посылают в Сибирь, откуда он бежит в Питер. По убеждениям он все время остается меньшевиком. Он обладает большим ораторским талантом. В 1905 году его выбирают в Совет рач. депутатов. Потом — опять арест, долгие месяцы в тюрьме, Сибирь. Там он случайно попадает в селение, где был тов. Троцкий, принимает деятельное участие в его побеге и, когда все проходит благополучно, бежит сам. Французские рабочие знают его под именем «Тубин».

Проводив товарищей, я направляюсь в Одессу. По дороге меня предупреждают, что около Кременчуга банда Махно почти ежедневно останавливает поезда, снимает матросов, евреев, коммунистов и тут же расстреливает. И чем ближе мы подходили к этому месту, тем неспокойнее становилось на душе.

Действительно, я видел разрушенные вагоны, неубранные трупы расстрелянных товарищей. Но как-то не хотелось верить, что можно погибнуть от руки простого бандита после славной страницы жизни, которую я пережил. И это кошмарное путешествие продолжалось 6 суток. К нашему счастью, в самом опасном месте нас провожал броневик (хотя бывали случаи, что и броневики спускались с рельс). Так благополучно добрался я до Одессы. Жену свою и девочку я не предупреждал о своем приезде в Россию, и когда они меня увидели, они буквально подумали, что я явился с того света. Оказалось, что в свое время деникинская печать известила, что я расстрелян в Константинополе. Конечно, никто из моих родных и знакомых не ожидал видеть меня живым. Жену свою я почти не узнал: от всего пережитого она превратилась в комок нервов. Настроение девочки было далеко не то детское, которое соответствовало бы ее девятилетнему возрасту: какой-то тяжелый отпечаток, что-то грустное было в ее детской душе. При виде этого мне стало тяжело. Но я не мог долго оставаться с ними, так как должен был срочно уйти на ту работу, которая меня ждала. И невольно закрадывалась тогда мысль, что современный коммунист не должен иметь семьи, детей, потому что у него личной жизне не существует. Чем виновата эта малютка, что родилась в кошмарной обстановке, где за последнее время идет решительная классовая схватка, и что ее отец—один из тех десятков тысяч коммунистов, которые жертвуют своею жизнью в разных условиях?.. Несколько дней, проведенных в родной семье, пролетели незаметно. Нужно было собираться в Москву и дальше. Взять семью с собой я не мог, потому что ехал на подпольную работу, где им было бы трудно жить. И опять с болью в душе пришлось их оставить, думая, что, может быть, видел их в последний раз: буржуазные акулы не задумаются тебя растерзать, когда узнают, что ты русский большевик...

В Москву еду через Киев. Дорога эта более безопасна. В Киеве нам дали отдельный вагон, так как много делегатов ехало на общероссийскую конференцию нашей партии. И только здесь, в этом вагоне, я отдохнул. Все думы о благополучном переезде в Москву остались позади.

Прибыв в Москву, я снова заехал в «Деловой Двор», сейчас же написал письмо т. Ленину с уведомлением, что уже я здесь, в Москве, и что если он найдет нужным—может меня вызвать. Не зная, помнит ли он меня, я подписался своей партийной кличкой. Через два дня секретарь тов. Ленина сообщил мне, что Владимир Ильич просит меня притти в 3 часа дня. С большой радостью готовился я к приему. В 3 часа я уже был в Кремле. Перед тем, как зайти

к Ильичу, я был сам не свой: я задавал себе вопрос, остался ли Ильич таковым же, каким он был раньше, хотя многие товарищи и говорили мне, что он с той же простотой и с тем же товарищеским чувством относится ко всем. Я часто думал и мечтал об одном—посидеть хоть ½ часа с Ильичем, получить от него точные и ясные ответы на все волнующие меня тяжелые вопросы. Мне казалось, что после такого свидания я оживу, у меня появится больше энергии, больше сил для работы. С любовью вспомнил я те светлые дни 1909 года, когда Ильич со мной занимался. Как сейчас вижу небольшую комнату в общежитии наших эмигрантов в Париже, деревянный стол, за которым сидим мы, трое рабочих—ученики Ильича. Вижу его рукописи по аграрному вопросу, о национализации, которые тогда еще не были напечатаны и в которых он доказывал нам, насколько неправы меньшевик Маслов и социалист-революционер Чернов со своими путанными теориями. Как просто мы всегда с ним себя чувствовали! В нем мы видели не лидера партии, а старшего товарища, который многому нас мог научить. И теперь, за несколько минут до свидания, я страшно хотел, чтобы наша встреча не оставила ничего такого, что могло бы омрачить то светлое, чистое впечатление, которое было в прошлом, в воспоминаниях.

После некоторых формальностей меня, наконец, впускают в кабинет т. Ленина, хотя никаких свидетельств, кроме вызова по телефону, у меня не было. Ильич был один. Подымаясь, он пожал мне руку:

— А, это вы, Володя-«Переплетчик» (моя кличка)! Я так и думал. Вы в 1909 году мне подарили книжку.

Я вспомнил, как, уезжая в Россию на партийную работу, я переплел для него в хороший переплет протоколы Лондонского с'езда с надписью. Это было 11 лет тому назад, и такую мелочь Ильич сразу вспомнил!.. Ильич предложил мне сесть. Я осмотрелся. В кабинете стоял большой письменный стол, телефонный аппарат, сзади Ильича—большой шкап и этажерка, набитые книгами. Все было удивительно просто. Как только я сел, я почувствовал себя так хорошо, даже лучше того времени, когда Ильич со мной занимался. Теперь я уже политически вырос и с гордостью мог рассказать своему дорогому учителю о той работе, которую я провел за последнее время. Облокотившись на край стола и по обыкновению немного прищуря один глаз, он внимательно начал меня расспрашивать об итальянском и французском рабочем движении, о руководителях. Я много говорил о Серрати. Рассказывал про ту колоссальную работу, которую проделывали наши туринские товарищи во главе с Грамши. Ильич заинтересовался теми французскими делегатами, которые были на конгрессе,—особенно Вержа и Лепти... На все волнующие меня вопросы я получал исчерпывающие ответы. И когда я собрался уходить, думая, что я уже так много отнял у него времени, он попросил меня еще остаться, и больше часу еще продолжалась наша беседа. Про-

щаясь, он просил меня позвонить ему еще раз перед от'ездом за границу.

Я не знаю, что со мной было, когда я вышел из его кабинета. Я не сходил, а буквально летел с лестницы. Тем, которые меня видели в то время, наверное, казалось, что я сумасшедший. А в моей душе было так радостно, так хорошо! Я сам себе говорил, что Ильич был и есть наша светлая точка, не только в нашей партии и в русском пролетариате, но и в рабочем движении мирового масштаба.

Я начал готовиться к от'езду за границу; не знал только, каким путем ехать... В это время я получаю известие, что мои французские друзья, выехавшие через Мурманск, погибли. Смерть их страшно на меня подействовала. Я успел их так полюбить. Мысль о возможности их гибели никогда не приходила мне в голову. Ведь не так давно я видел их в Харькове, мы говорили, спорили, и можно ли поверить, что их уже нет, что я их никогда уже больше не увижу?. К сожалению, все это подтвердилось. Из Мурманска, взяв небольшой пароходик, они четверо, капитан и 2 матроса решили немедленно пробраться через Норвегию во Францию... Даже трупов их не могли отыскать. Ехать этим путем я не решался.

Намечаю другой путь—через Эстонию в Берлин. И через несколько дней я уже был на пароходе, вместе с купцами, которые приезжали предлагать советскому правительству свои товары. Из разговора с этими людьми я почувствовал, что большевиками они были довольны постольку, поскольку могли продавать свои товары, получая деньги: ведь золото не пахнет, будь оно из рук большевиков—воров и разбойников (как они выражались) или от кого-нибудь другого. Эти господа считали, что с большевиками «дело иметь можно». Но все их разговоры меня совершенно не интересовали,—мне нужно было опять приспособиться к обстановке, начать ту роль, которую я играл некогда за границей. Нужно было снова постараться внешне воспринять буржуазный тон, подготовить себя к Италии, куда я направлялся.

Так я доехал пароходом до Штеттина, откуда направился в Берлин. По приезде туда я заехал в гостиницу «Эксельсиор», чтобы привести себя в порядок, приодеться, принять вполне европейский вид и начать хлопотать о визе. Благодаря моей внешности, визу получить мне удалось очень легко. Через несколько дней я уже летел в курьерском поезде к Швейцарии.

Еще в Москве я был осведомлен о том, что дочь французского рабочего, у которого я скрывался и который сделал столько полезного для меня и для нашей работы, заболела и живет в Швейцарии. Я решил здесь на несколько дней остановиться. Мне нужен был секретарь, которому я мог бы доверить всю ту серьезную партийную работу, какая была возложена на меня Профинтерном и ЦК нашей партии. Единственный человек, кому я мог все это доверить, была эта дочь рабочего—учительница, коммунистка, знающая прекрасно несколько европейских языков. Работа моя

распространялась не только на Италию, но и на Францию. Через сутки я был уже в Швейцарии, а через несколько часов сидел в одном деревенском домике, где эта женщина находилась на отдыхе у своей бабушки. Не стану описывать ту искреннюю радость, которая овладела ею в связи с моим прибытием. На первое же предложение ехать со мной в Рим она с удовольствием согласилась, хотя хорошо знала, что работа будет серьезная и опасная. И через несколько дней я уже ехал с ней в Рим.

Обратно на подпольную работу за границей.

В Риме я возлагал много надежд на свои старые связи и знакомства. Благодаря им, мне казалось, легко будет наладить ту работу, которую мне поручили. Первые мои встречи и совещания были опять с тов. Бомбачи, Дженари, Грамши и Виз... В устройстве дел личного характера мне очень много помог один из депутатов парламента, коммунист. Первое, что нужно было сделать, это поселиться в каком-нибудь частном доме, а не в гостинице, где охранка обыкновенно имеет своих агентов из служащих, которым известно все, что ты делаешь, что читаешь, куда ходишь. В частном доме шпики имеют меньше возможности следить за этим.

Депутат помог мне устроиться в доме одного ответственного редактора большой буржуазной газеты. По некоторым причинам газеты называть не буду. Я занял две комнаты для того, чтобы мой секретарь жил со мной вместе. Так как эта женщина была моим другом, то депутат посоветовал заявить, что она моя жена. Девушка на это быстро согласилась, так как этого требовало дело. Редактору было заявлено, что я финансист и коммерсант, и он иногда не прочь был выпить со мной бутылку хорошего вина, вкусно покушать. А за бутылкой вина от него можно было выведать все политические новости и сплетни. Через него я имел ряд знакомств с буржуазными депутатами и с разными сановниками. 2—3 раза в неделю он предоставлял мне от редакции своей газеты два места—для меня и для моего секретаря—в Большом театре. И было как-то смешно сидеть рядом с журналистами других буржуазных газет, которые думали, что я тоже из их стаи, коллега по продажному перу. Бывало, сидишь в театре и думаешь, насколько русский театр и русский артист стоят выше итальянского. Не даром русский артист пользуется громадным успехом на итальянской сцене. Чем об'яснить, что в стране музыкального народа, где столько талантливых артистов, театр вырождается?.. Только на концертах, где выступали иностранные артисты, можно было отдохнуть и получить полное эстетическое удовольствие. Колоссальный успех имел наш русский изветный виолончелист Баржанский.

Партийная работа была очень трудная. Серрати, приехав со II конгресса, начал усиленную кампанию против левого крыла партии, хотя перед от'ездом из Москвы он заявил тов. Зиновьеву:

— Я скорей уеду в Америку, чем буду выступать против Коминтерна.

Но с первых же дней по возвращении начал решительно выступать против коммунистов, кокетничая в то же время с реформистами.

Партия еще не была едина. Но следя за ходом борьбы, можно было определить, что раскол в ней неминуем. Я лично очень боялся этого раскола. Хотя партийная масса и рабочий класс были с коммунистами, все-таки не было надежных лидеров, могущих стать во главе будущей коммунистической партии.

Бомбачи, пользующийся широкой популярностью,—большой романтик, человек настроения, хотя безусловно преданный революции. Когда нужно будет, он станет в первые ряды пролетариата, и с ним первым расправится буржуазия. Но у него нехватает того холодного марксистского анализа, которым владеют наши русские товарищи.

Джепари, несомненно, талантливый марксист, но у него нет инициативы.

Грамши куда глубже других товарищей. Он лучше понял и русскую революцию. Но внешне он не может влиять на массу: во-первых, он не первоклассный оратор, во-вторых, он молод, мал ростом и горбат, что имеет известное значение для аудитории.

Все это, вместе взятое, предвещало, что будущая коммунистическая партия Италии с такими вождями будет иметь меньше влияния, чем Серрати. Серрати—прекрасный оратор, публицист, вдобавок—большой политический «дипломат». Когда это ему политически выгодно, он умеет блестяще доказывать, что белое красно, и обратное. Он ловкий честолюбец, но без революционного темперамента. В решительный момент, когда рабочие могли взять власть в свои руки, он под разными предлогами стал выступать против этого. При таких условиях приходилось совещаться с товарищами и, конечно, занимать ту же позицию, что и итальянские товарищи.

На с'езде в Ливорно мы задались целью сделать все возможное, чтобы не допустить раскола партии; в противном случае решено было уйти и организовать коммунистическую партию. Такого характера были директивы от Коминтерна. Как уже известно, партия раскололась, коммунисты оказались в меньшинстве и в первое время наделали много ошибок. Но сейчас партия укрепилась настолько, что имеет почти 60.000 членов. И эта молодая партия уже успела выдвинуть очень талантливого руководителя Бордига. Все товарищи отзываются о нем, как о серьезном революционном марксисте. На него возлагают серьезные надежды.

Все наши совещания происходили конспиративно: берешь извозчика и едешь по тому направлению, куда нужно, но слезаешь на два квартала раньше и спокойно пешком доходишь до той конспиративной квартиры, где назначено совещание. Если же нужно было видеться только с одним товарищем, назначалось свиданье

в саду, где множество гуляющей публики, или в части старого Рима, где много туристов, осматривающих старинные памятники, и там, незаметные в толпе, мы успевали передавать друг другу все необходимое. Переписки на свой адрес мы не получали, письма приходили на разные адреса. И как ни старалась охранка не терять меня из виду, сделать это ей было трудно, тем более, что я жил у такого видного, хорошо зарекомендованного хозяина. За несколько месяцев моего пребывания в Риме я три раза выезжал в Берлин. Обыкновенно я запасался всякими коммерческими заданиями и бумагами от крупных фирм. Поэтому на границе у меня никогда не происходило никаких недоразумений.

В марте меня хотели познакомить с одним русским гражданином, приехавшим из Парижа от группы «сменовеховцев», которая была в оппозиции к Милюкову и К°. Я лично не считал удобным вести с ним переговоры и поручил это одному из моих друзей. Выяснилось, что эта группа искала нашей моральной поддержки и просила послать кого-нибудь в Париж для переговоров. В доказательство, что это не шантаж, он вручил нам оригинал письма Бобрищева-Пушкина к Ключникову. В этом письме первый приветствует адресата и других лиц, выступающих на собраниях против Милюкова и его банды, а тут же доказывает, что единственно приемлемая власть, это—советская и что все честные русские люди должны ее поддерживать. Дальше он говорит о том, что сам сидел 8 месяцев в «Чека» и был всегда правым октябристом. Живет он в Монте-Карло у своей старушки-матери и при первом требовании может выехать в Париж, чтобы лучше наладить работу (содержание передаю приблизительно). Сняв копию с этого письма, я переслал его в Москву. Другу же моему я поручил ответить, что мы приветствуем такой переворот, но будем более приветствовать, если они печатно, открыто выскажут свое мнение. Я обещал, что при первой возможности кто-нибудь из наших заедет в Париж по тому адресу, который будет указан.

В конце апреля неожиданно получаю директивы—отправиться на несколько недель в Париж, наладить там работу, после чего приехать в Москву. В первый момент я был удивлен, потому что знал, что во Францию я ехать не могу, так как там мне грозил неизбежный провал. В Москве же было условлено, что всю работу я провожу только через Италию. Но в таких случаях старый партийный работник не рассуждает. Раз товарищи нашли нужным перерешить этот вопрос, значит надо немедленно ехать, хотя не очень-то хотелось попасть в лапы французской буржуазии. В течение двух дней мне очень легко удалось выполнить все формальности и получить французскую визу.

Мой секретарь был весьма рад этой поездке: там находилась ее семья, родные. Но в то же время она боялась, что я могу быть арестован.

Я решил проездом остановиться в Ницце. Там, мне казалось, будет легче получить бумаги на право жительства во Франции.

Не нужно будет крутиться по парижским участкам, где меня могли встретить русские белогвардейцы. К 1-му мая я был уже готов к от'езду. С собой у меня было много коммерческих рекомендаций от крупных финансистов, хотя в коммерции ни черта не смыслил. 2 мая мы выехали в Ниццу. По приезде остановились в гостинице. Знакомых не было, и мы с секретарем решили осмореть достопримечательности Ниццы и ее окрестностей. Особенно хотелось мне побывать в Монте-Карло, где миллионеры всего мира играют в рулетку, проигрывают целые состояния и тут же кончают с собой. Оставалось несколько дней до получения бумаг из полиции. В один из них мы поехали в Монте-Карло. Не стану описывать сказочную красоту этого обособленного своеобразного городка,—для этого нужно быть поэтом, художником пера. Остановлюсь лучше на дворце, откуда слышен звон золота. Там нас встретили разодетые швейцары. После целого ряда формальностей (пред'явление своих паспортов, получение пропускных карточек) нас, наконец, впустили. Мне казалось, что сейчас я увижу нечто необыкновенно интересное. Но то, что я увидел на самом деле, было настолько удручающе, что даже сейчас, вспоминая это, я буквально дрожу от злости. Мы увидели громадные, роскошно обставленные, разрисованные талантливыми художниками, красивые комнаты. Тут была масса народа. За столами, расставленными в ряд, сидели и богатые старухи, и старики, и молодые полуголые женщины, и роскошно одетые господа. Все их взгляды были направлены на рулетку, которая вертелась и приносила им попеременно то счастье, то несчастье. Как они впивались глазами в руководителя этого стола, который пачками разбрасывал в разные стороны кредитные билеты! У всех присутствующих были вытянутые жадные лица, горящие, беспокойно бегающие глаза, и зависть, и злоба, и дикая жадность, и безграничное отчаяние, и кошачье заигрывание,—все это было на этих лицах, в этих глазах. Мягко подкрадываются к тому, кто выиграл, бесстыдные полуголые женщины, высасывают деньги, затем идут к другому, к третьему. Все здесь было основано на деньгах, ими был пропитан весь воздух. Становилось душно, холодный ужас сжимал сердце. И мне невольно казалось тогда, что тот анархист, который бросил бы крупный снаряд в эти нежизненные отбросы капиталистического строя, сделал бы доброе дело. С удручающим тяжелым настроением быстро покинули мы это гнусное место, где человек теряет свой человеческий облик, становится животным...

Около дворца мы увидели голодных, оборванных пролетарских детей. Мой секретарь, так же, как и я, возмущенный всем виденным, обратился ко мне со словами:

— Каждый из этих ребят, несомненно, заслуживает большего, чем вся эта мразь, которую мы только-что видели. И не даром их у вас уничтожают. Здесь—полуголодные, измученные дети, беспризорные, несчастные, только-что начинающие жить, там—из

пустой прихоти выбрасываются на ветер целые миллионы,—миллионы, обрызганные кровью пролетария!

Я ничего не ответил на это. Я чувствовал только одно, что для нас, русских рабочих, это—другой мир, другая планета, что у нас не этим наполнена жизнь. С таким настроением я вернулся домой. Долго не мог я заснуть, какая-то тяжесть была на душе. И только утром, когда раздался стук в дверь и пришла полиция, я сразу понял, что мое тяжелое состояние было пречувствием...

Арест.

Открывается дверь, и входят четыре господина, одетых в штатское платье. Один из них заявляет, что он является главным комиссаром города и должен произвести у меня обыск. До обыска он хотел выяснить мою настоящую фамилию: он вынимает лист с наклеенной моей фотографией, под которой была подписана моя старая—до эмиграции—фамилия.

— Конечно,—говорит он,—это вы и теперешняя ваша фамилия фальшивая.

Я ответил, что разговаривать с ним не желаю, что раз он пришел делать обыск, пускай производит его, но только не прежде, чем даст проверить свой мандат на право обыска. При входе моего секретаря комиссар радостно заявляет:

— А!.. вас-то нам и нужно! Вы ж,—обратился он ко мне,—заговорите в другом месте, если здесь отказываетесь.

Я спокойно сидел на своем месте и лишь после того, как он показал мне свой мандат, я раскрыл перед ним свой чемодан. Все четверо буквально набросились на него и перерыли в нем все; конечно, они ничего не нашли, кроме нескольких книг. Как все охранники, ни черта не смыслящие в литературе, они с большим подозрением отнеслись к двум книжкам; это были: «Мать» Горького на французском языке и книжка знаменитого французского поэта Верлена. Первая из них показалась подозрительной потому, что она была написана Горьким, которого они считали большевиком, вторая—потому, что была из Парижа и в рукописком виде; им казалось, что это писано моей рукой и, наверное, революционного содержания, так как я читаю Горького. Около 20 минут рассматривали они эту книгу и только тогда, когда я расхохотался, они поняли, что делают глупость.

— Вы, французы и представители власти республиканской, и не знаете своих талантливых поэтов!—сказал я.

Ответом было злое бормотание. В конце-концов комиссар приглашает нас обоих следовать за ними.

— До тех пор, пока я не узнаю из Парижа, что с вами делать, вы будете сидеть в участке,—сказал комиссар.—Я удивляюсь, как вы могли проехать французскую границу, когда там при проверке вашего паспорта должны были арестовать вас. Еще в январе

по всей границе разосланы ваши фотографии с приказом, в случае вашего переезда, арестовать вас.

То, что я раскрыт, было несомненно, но была ли здесь серьезная провокация или случайность,—я еще не знал. Вот почему я решил отказаться от всяких показаний. Мне нужно было выяснить, какие материалы имелись против меня.

А покуда нужно было постараться освободить моего секретаря. Только на свободе она могла действовать: найти от комитета партии защитника, исполнять все мои поручения. Для своего оправдания она должна была сказать на допросе, что была моим секретарем только по коммерческим и литературным делам. Доказать ей это было легко, так как она прекрасно владела несколькими языками и уехала из Парижа со службы по болезни. Ее быстро освободили, а меня повели к прокурору этого города.

Жандарм ввел меня в кабинет к одному толстому суб'екту, похожему на свинью. Он показал мне мою фотографию и начал уверять, что хорошо знает, кто я и какова моя фамилия. Он предложил мне подписаться, от чего я решительно отказался.

— Что же,—говорит он,—нам ваша подпись не нужна, вы и так будете сидеть. И если нужно будет расстрелять—расстреляем и без этого.

— Ваши руки коротки, чтоб меня расстрелять,—сказал я.

Тут он не стал больше со мной разговаривать и быстро передал меня следователю, который грубо и нахально начал меня допрашивать. Когда я в резком тоне заявил ему, что его труды напрасны, что говорить с ним я буду тогда, когда захочу,—он не выдержал и крикнул жандармам, чтоб они меня взяли. Жандармы грубо схватили меня, вывели из кабинета и бросили в какую-то темную, узкую комнату. Здесь было настолько тесно, что нельзя было сделать ни одного шага, чтоб не наступить кому-то на ноги; оказалось, что здесь были еще 2 заключенных, попавших сюда по уголовным делам. Часа через два меня вывели, надели ручные кандалы и в тюремной карете повезли в тюрьму.

Просидев долгие годы по царским тюрьмам, я думал, что во Франции, после разрушения Бастилии, после великих революций, тюремная жизнь гораздо легче наших. Но с первого же дня моего заключения я почувствовал, что между царскими и «настоящими» французскими тюрьмами—разница небольшая. В царских тюрьмах подследственный мог получать книги, пользовался небольшой прогулкой во дворе, дышал чистым воздухом. Здесь же, сидя почти 4 месяца, я находился на уголовном режиме. Около 4 месяцев я почти не дышал свежим воздухом, почти не видел книг, кроме тех, которые выдавались по одному разу в неделю, с самым пошлым содержанием, где вдобавок нехватало половины страниц. Почти два месяца добивался я здесь разрешения на приобретение словаря и учебника. Заставляли рано ложиться спать. Перед сном нужно было раздеться и вынести свои вещи в грязный коридор. За каждую мелочь бросали в карцер. Невинных рабочих, попа-

давших случайно за какие-нибудь пустяки, неимоверно избивали.

Я и теперь еще внятно слышу крики избиваемых. Это был не обыкновенный крик, который можно услышать на улице, это были нечеловеческие вопли. Я старался всегда зажимать уши, чтоб их не слышать. Такие безобразия происходили у нас в России только в царских каторжных централах.

Надзиратели служили здесь по 20—25 лет. Некоторые из них были типичными садистами. Какое громадное удовольствие испытывали они, избивая заключенных, видя их страдания. В таком состоянии приходилось ежечасно, ежеминутно думать о том, что, может быть, долгие-долгие годы придется гнить в этой тюрьме. И мне казалось, что я скорей соглашусь быть расстрелянным, чем жить при таком гнусном режиме, где руководители называют себя «культурными» и на русских смотрят, как на дикарей.

Находясь в тюрьме, я вел дневник,—конечно, в него я помещал не все. При широком освещении вопросов он мог бы служить хорошим материалом против меня. Потому я был краток. Хотя арестован я был 7-го мая, но записывать начал лишь с 11-го,—до какового числа не мог достать ни бумаги, ни чернил. Вот несколько выдержек из дневника, дающих понятие о том, что я пережил за время своего заключения в республиканской французской тюрьме.

Тюремный дневник.

«С 7 по 11 мая.

Часа через 2 после ареста, меня привели в тюрьму. Железные ворота открылись и сейчас же закрылись. Какой-то жандарм начал расспрашивать и записывать мою фамилию и пр. Брал мой палец, опускал его в черную краску, заставлял прикладывать его к бумаге, чтобы получить отпечаток. Потребовал, чтобы я расписался. Забрал все деньги и карманные вещи, которые я с собой имел. Как ни просил я оставить мне часы,—и в этом отказали. Раздели до-гола, обыскали, затем разрешили одеться, дали кусок хлеба и повели дальше по громадному коридору. Тишина удивительная, несмотря на то, что всего было только 6 часов вечера. Почему-то около каждой камеры лежали брюки, шляпы, ботинки, белье,—я не понимал еще, в чем дело. Надзиратель, который меня ввел, передал меня другому со словами: «83». Поднимаемся на 3-й этаж. Он открывает одну из камер и грубо говорит: «Раздеваться». Я опешил, спросил: «Почему?»—«Спать надо итти»,—было ответом. В мае в 6 часов вечера, когда солнце еще высоко на небе—нужно ложиться спать!.. Но об'ясняться не с кем, и я решил исполнить приказание. Разделся, положил все свои вещи в коридоре и вошел в свою камеру. Там я увидел запирающуюся кровать с очень грязным матрацем, набитым соломой, стол, вернее—доску, прибитую к стене, стул, также прикрепленный к стене. Тут же стояла параша. Вот и все убранство камеры. Одно удобство, которому я чрезвычайно обрадовался,—кран: можно по-

мыться. Хорошо, что не отобрали платка,—он может заменить полотенце. В общем камера довольно высокая. В потолке окно, чрез которое, однако, ничего нельзя видеть, кроме кусочка неба.

Несколько минут стоял я, как вкопанный; но, вот, надзиратель кричит, чтобы я лег сейчас же спать. Морда у него настоящая собачья—тупая, грубая, я решил подчиниться и лечь. Долго, долго не мог я заснуть. Слышно было, как проходят поезда. Тысячи мыслей роились в голове, тяжестью ложились на душу: «Когда же люди заживут, наконец, спокойной жизнью, не будут брать себе же подобных и бросать их, как животных, в какие-то ямы?.. Ведь человек есть что-то высшее. Жизнь могла бы быть прекрасной без этого насилия над слабыми».

С тем и заснул. Рано утром меня разбудил мой надзиратель, который, как бешеная собака, ворвался и заорал: «Разве ты не слышишь, что дверь открылась?!». Нужно было взять свои вещи, одеться, запереть кровать. Не разговаривая, я быстро все это проделал. Через час принесли булку,—около фунта. Я стал ее есть, крутясь по камере, как бешеный зверь в клетке. К 10 часам принесли немного супу, но его нельзя было в рот взять. Даже если бы он был и хорош, все равно есть совершенно не хотелось, несмотря на то, что я два дня ничего не ел. Вот открывается форточка, бросают книгу Майн-Рида. С жадностью начинаю ее читать, но увы!—половины страниц нехватает. Зато почти на каждой странице—грязные надписи, рисунки, где фигурируют кинжалы, револьверы. Думаю—вот, чем живет тюрьма, и какие же воспитанники выйдут отсюда!..

В 4 часа разрешили прогулку: впустили в большой сарай без половины крыши, откуда видно небо; заперли на ключ. И создалось впечатление, будто я в той же камере, только имею больше воздуха. Так я гулял минут 15, после чего меня опять загнали в камеру.

Принесли каши; я взял пару ложел и бросил. Ложка и кастрюля неимоверно грязны и на них много ржавчины. Кашу выбросил в парашу, а пустую кастрюлю отдал. Слышно, как открываются и закрываются двери,—нужно раздеваться. Кладу свою одежду в коридоре на грязный цемент—и скорей в кровать, а то Перети (мой надзиратель) опять разозлится.

12 мая.

Утром входит ко мне Перети—самый противный из всех надзирателей, которому не даром я дал кличку «Мопс».

Он осматривает стену и говорит другому, что на стене заметно, как я лез в окно. Окно находилось на высоте 4 аршин. Как можно лезть туда, я не знаю, но «Мопсу», видно, страшно хочется посадить меня в карцер, вот он и придирается. Хорошо, что другой не поверил ему.

Кручусь все время по камере, читать нечего. Вчера написал, чтобы мне разрешили купить книгу «Жан Кристоф»—Ромен Роллана. Не знаю, позволят ли,—здесь всего можно ожидать.

Сегодня поднялся на скамейку, прикованную к стене. Очутился ближе к окошку. Какой вид волшебный, прямо сказочный! Гора вся в зелени и цветах. Что дал бы я, чтоб хоть немного погулять там, подышать свежим воздухом! Видны замечательные дворцы, где люди наслаждаются жизнью, не чувствуя, как живется другому взаперти. Скоро нужно ложиться спать. В это время жизнь в городе только начинается, а здесь... Хочется скорей привыкнуть к такой жизни. Но привыкну ли я, можно ли привыкнуть,—не знаю.

Если бы можно было на время выкинуть мозги,—не пришлось бы мыслить, понимать, чувствовать...

13 мая.

Рано утром выслали гулять. Какое прекрасное небо,—напоминает римское! Гулял немного больше обыкновенного. Когда вернулся в камеру, понял—почему. Все перерыто,—очевидно, чего-то искали. В чем дело,—не знаю. Весь день настроение отвратительное. Писал письмо С. Написал какие-то глупости. Голова не работает. Все время кручусь по камере: делаю по 6 шагов то в одну, то в другую сторону. Покурил трубку, голова закружилась. Как видно, здорово ослаб. Хотелось прилечь, но кровать заперта. Слышно, как работают в мастерских. Стучат молоты. Как видно, здесь большие мастерские. Завидую работающим. При работе можно забыть, что находишься в тюрьме. Молодые люди из заключенных разносят завтрак по камерам, чистят коридоры. Масса интеллигентных лиц.

Зачем-то вызвали, повели в какую-то комнату, записали еще раз имя и фамилию. Заставили раздеться, мерили, записывали, пачкали руки, как-будто я был вор и грабитель,—и все это продолжалось около часу. Потом позвали в другую комнату, показали чемодан. Оказалось, что С. удалось выхлопотать хоть один чемодан с бельем. Там были сласти и папиросы. Разрешили взять только одну пару белья. Были там 2 тома Достоевского «Братья Карамазовы». Попросил их оставить, но не позволили. «Читать не позволяем»,—был ответ. Переменил белье, поел сласти, и настроение несколько рассеялось. Казалось, что я опять на свободе. Но скоро надо спать!

14 мая.

Вчера ради шутки попросил купить себе зеркало. Только-что принесли маленькое зеркальце величиной с наш старинный серебряный рубль. Увидел свою рожу и сам испугался,—зарос, пожелтел. Вообще, здорово изменился.

Начинаю привыкать к этому гнусному режиму.

Вчера повели нас в баню, я пошел с большим удовольствием. Но вот картина. Выстроили, как солдат, в ряды и повели в грязный коридор. Велели раздеться. Разделись. Бросили свое белье на грязный пол и стали ждать очереди. В бане было 4 перего-

родки и впускали только по 4 человека. В одну из них вошел и я. На полу лежал кусок мыла, которым мылись другие, напротив сидел с кишкой один из арестантов и направлял на меня то холодную, то горячую воду. По истечении трех минут—приказ выходить. На всех четырех полагается одна простыня. Я так и не протер своего тела. Вот и баня. За это удовольствие лишили прогулки, которую ждал с нетерпением. Там можно хоть немного подышать свежим воздухом.

Очень рад, что получил от С. (мой секретарь) письмо. Бедная девушка целых три дня билась, чтоб получить разрешение на свидание со мной, но ей отказали.

15 мая.

Сегодня гулял с одним итальянцем-рабочим. Сидит больше месяца. В один из воскресных дней он «гулял» в кабаке. Напился и подрался из-за какой-то женщины. Этого было достаточно, чтобы его избили и посадили в тюрьму. Ни одного раза его еще не допрашивали. Сидит и прислушивается, не вызовут ли на допрос.

16 мая.

Ах, какую ночь я провел! Какие кошмарные сны мне снились! Почти всю ночь недалеко от моего окна раздавались пение и музыка. Пели молодые мужские и женские голоса. Видно, был какой-то праздник... Все время раздавался колокольный звон.

Здешняя пища ужасна. Можно буквально умереть с голоду. Суп всегда с мухами.

Ничего нельзя сказать! Спросишь—не отвечают. Всюду—грубость. Я никогда к ним ни за чем не обращаюсь, а потому они никак не могут придраться ко мне, несмотря на страшное желание посадить меня в карцер.

Нечеловеческий крик раздавался из какой-то нижней камеры. Я спросил у разносящих кушанья, в чем дело. Мне ответили, что это «кризис» нервов. Но какие ужасные крики! Избиваемый то хрипел, то стонал. Сейчас он кричит: «мама, мама!». Не могу слушать...

17 мая.

Думал, что буду спать хорошо. Но какой чорт! С 6 до 12 не закрыл глаз. Все время лил дождь. Каждые два часа открывалась форточка, и надзиратель смотрел, в камере ли я. Он так тихо и бесшумно подходит,—буквально, как кошка. Идиоты думают, что отсюда можно бежать,—когда и думать об этом немыслимо. Молодой, лет 18, заключенный подает мне в форточку завтрак и просит курить. Я спросил его, за что он сидит.

— Сижу уже 2 года и 4 месяца. Осталось сидеть еще 10 месяцев. Убил одну учительницу.

— За что?..

— Так,—говорит,—была моей любовницей, потом пошла с другим, ну, я ее и застрелил!

Передо мной стоял мальчик. Тогда, когда произошла эта драма, ему было не больше 16 лет.

Сегодня, как видно, прекрасная погода! Кручусь по камере в одной рубашке; душно и жарко, хоть солнце и ни разу не заглянуло ко мне. Невольно начинаешь думать и мечтать.

Скоро надо итти спать. Дрожь охватывает, когда об этом думаешь. Ведь не шутка находиться в постели целых 13 часов. И какая постель! Целый день без движения—хоть бы дали какую-нибудь работу. Чорт бы их побрал!

19 мая.

Сегодня получил посылку,—корзинку с провизией. Пришел отец моего секретаря и, как видно, с адвокатом.

Как я думал, так и сбылось: мне отказали в свидании с отцом С.

20 мая.

Спал отвратительно. Вчера «Мопс» заставил меня закрыть окно, хотя до этого я все время спал с открытым окном. От параши и от близости коридора воздух ужасный, думал, что задохнусь. Долго не мог заснуть. Наконец, будь, что будет,—решил потихоньку открыть окно. Открыть его было нетрудно. Самое отверстие окна закрывалось куском железа, и стоило потянуть его, как оно немножко открывалось. Начал дышать свежим воздухом.

Сегодня мне не принесли хлеба на том основании, что я вчера получил посылку, в которой хлеба-то как-раз и не было.

22 мая.

Вчера утром надели на меня ручные кандалы и повели к следователю. Ехали почти ½ часа. Погода прекрасная! Масса гуляющей, роскошно разодетой публики! Почти каждый прохожий внимательно рассматривает меня. Взоры мои направлены на горы, сплошь покрытые зеленью и цветами.

Но вот меня привезли к следователю, сняли кандалы, заперли в темную комнату; через некоторое время позвали. Сидят—мой адвокат в полной форме, следователь, писарь и тут же—жандарм.

Просят сесть. Следователь начинает меня допрашивать, но не так уж нагло: «Ну, вот, мы получили копии выданных вам из Парижа удостоверений личности за вашей подписью до войны на одну фамилию, а в 1920 году за вашей же подписью на другую фамилию. Какая же ваша настоящая—первая или вторая?

Я заявляю на это, что до революции, как политический эмигрант и как тысячи других эмигрантов, я имел фальшивый паспорт, так как царское правительство, имея своих агентов, следило за нами. Бежал я из Сибири, никаких бумаг не имел. Вот почему мне пришлось выдумать фамилию. Хотя мои родители были иностранцы, но, родившись в России, я стал на сторону рабочего класса против царского правительства. В 1920 году жил по своему настоящему паспорту.

— А вы большевик?

— Хотя мои убеждения вас не касаются, но я их никогда не скрывал и не намерен скрывать.

— В России принимали деятельное участие?

— Конечно, да!

Процедура допроса продолжалась почти час. Затем адвокат устроил мне свидание с отцом С. Тот был очень рад меня видеть, упал ко мне на грудь и стал целовать меня. Поговорили обо всем, что мне нужно было. На прощание крепко пожал его руку, расцеловал, и я почувствовал, как слезы оросили мое лицо. Меня опять заковали и повезли обратно. Когда вернулся, страшно нервничал. Вспомнил царские тюрьмы, где провел долгое время, Сибирь, куда меня сослали на всю жизнь и откуда я бежал.

Читаю Виктора Гюго,—какой гениальный писатель! Жаль только, что кончаю, а ничего другого читать нечего.

25 мая.

Сегодня один из надзирателей нелегально принес мне книгу— «Вертер». Видел это несколько раз в опере, и мне не так нравилось: на сцене выходит как-то банально; а когда читаешь, попадаются удивительно интересные страницы.

28 мая.

Сижу и читаю. Вдруг входит собачья морда: «Кто вам дал книгу?». Отвечаю, что другой надзиратель: «Как! Он не имел права». И книгу забрал. Вот подлец! Ему больно, что я читаю...

29 мая.

С. приехала в Ниццу. Сегодня получил недурную посылку; надеюсь, что скоро буду иметь книги. Какое счастье иметь на чужой стороне, без знакомых и родственников, друзей по идее!

31 мая.

Спал, как убитый. Приснился дурацкий сон. Как-будто с моими близкими что-то случилось. Моя дочурка все время кричала: «Папа, папа, где ты?». Ужасно меня раздражает «Мопс». Вчера, когда я гулял, он разбросал все мои вещи. Искал чего-то, чорт его знает! Придирается на каждом шагу. Но по моему взгляду он чувствует, что я его ненавижу. Голос у него, как у дикого зверя; кажется, что, если бы ему поручили вешать людей, он это спокойно бы сделал. Редко встречал таких диких животных. Даже шаги его в коридоре раздражают! У таких господ люди, это—номера камер, не больше.

1 июня.

Чувствую себя отвратительно. Весь разбит. Какая-то слабость. Еле кручусь по камере. Не могу понять, почему спал отвратительно. Слышал, как часы на колокольне отбивали каждый раз

$^1/_4$ часа, как крысы возились в камере, как каждые 2 часа открывалась форточка, и свет ручного фонаря падал на меня, чтобы удостовериться, что я нахожусь в камере. Так я ворочался всю ночь с боку на бок. Только утром заснул. Таким разбитым я себя не чувствовал никогда.

3 июня.

Пришел адвокат. Сообщил, что охранка имеет против меня какие-то важные сведения и потому скоро меня не освободят.

4 июня.

Пишу теперь очень мало, больше читаю. Удалось получить газету, ее мне тайно передал один из надзирателей, коммунист-рабочий, случайно попавший на эту службу после войны.

Узнал, что делается на белом свете. Одно ясно, что союзников больше не существует. Англия поддерживает греков, французы—турок, несмотря на то, что последние с большевиками. Поляки дерутся с немцами, французы поддерживают поляков. Англия и Италия, конечно, против такой поддержки. Какой-то ультиматум послан немцам. Сколько десятков таких ультиматумов будет послано еще... Назревают большие события, и никакой гений не может их предвидеть. Одно ясно, что союзники будут еще драться между собой и тем дадут России возможность укрепиться и ожить.

7 июня.

Спал неважно. Все время нервничал. В прекрасной республике в мелком, подлейшем масштабе еще существует азефовщина. Вот какие данные имеются против меня: какой-то румын, по фамилии Калиш, был арестован в Константинополе. Он показывал против меня всякие небылицы.

Но они забыли одно, что этот Калиш—французский шпик, занимающийся провокацией—давно раскрыт французской и итальянской социалистической прессой.

10 июня.

Рано утром повели меня к следователю. Но он не пришел, и меня увели обратно. Адвокат сказал, что к четырем часам опять поведут к нему. За это время я имел счастье видеть С. Говорил с ней минут 20. Довольно подробно об'яснил, что нужно делать. Она сегодня же уезжает.

Заперли меня в темную комнату с арестантом, оказавшимся крупным коммерсантом; арестован он был за то, что продавал консервы, которые остались от американских солдат. Консервы эти могли пойти лишь в пищу животным. Но он предпочел продавать их людям, и оказалось много отравившихся. Все-таки он считает себя правым, потому что эти консервы продал ему один старый министр, который, однако, не арестован. Вот с какой публикой мне приходилось быть вместе закованным. Когда мы вместе

приехали в тюрьму, он подал мне руку, попрощался и заявил, что через 3 дня его, наверное, выпустят на-поруки...

11 июня.

Вчера после обеда меня опять повели к следователю. Вернулся оттуда поздно. Мне удалось на-голову разбить следователя с его мелкими провокаторами. Я доказал ему, что в Константинополе не был и потому никакого паспорта провокатор мне не мог дать. Он должен был убедиться, что все, сообщенное охранкой, наглая ложь. «Я все-таки не понимаю, за что вы меня держите, — сказал я ему.—Если вы меня держите, как большевика, пред'явите политическое обвинение». На это мне отвечают: «Чего вы хотите? Этого требует положение Франции, и вы—одна из жертв». Договорился!!! Кончилась эта комедия, и меня в кандалах повели обратно.

25 июня.

Вчера мой адвокат рассказывал, что несколько дней тому назад следователь советовался с прокурором относительно моей участи. Следователь считал, что меня нужно освободить, выслать из Франции, так как против меня никаких улик нет.

Прокурор с этим не соглашался,—он боялся центральной охранки и думал, что раз я был сослан в Сибирь, значит есть некоторое право держать меня в заточении, тем более, что я иностранец. И все это неофициально.

30 июня.

От С. последнее время не получаю никаких сведений. Уезжая в Италию по делу, она должна была скоро вернуться. Для нее я начал писать свои воспоминания от 1909 г. по 1913 г.г., т.-е. о тюрьме, ссылке и побеге из Сибири. Написал кратко. Теперь нужно постараться передать ей. Очень трудная штука!

2 июля.

Выпустили гулять после обеда. Я был очень доволен. Солнце жарило. Когда вернулся, застал письмо от отца С. Пишет, что ему тяжело думать, что я еще взаперти, и писать на камеру № 83. Вся семья ждет с нетерпением моего освобождения... «Мопса» так и нет,—не слышу его противного голоса. Новый надзиратель относится хорошо, меняет книги.

3 июля.

Наконец получил посылку. Сразу почувствовал, что С. приехала. Возможно, что будут новости. Жду адвоката.

Входит надзиратель с бумажкой и сообщает, что меня посадят на 4 дня в карцер и 19 дней не будут пропускать провизии с воли за то, что я написал на двери камеры фамилию. Это устроил «Мопс» на прощание. Дверь и без того была изрезана разными надпи-

сями; их находилось тысячи за десять лет существования тюрьмы,— каждый из заключенных чем-нибудь вырезывал свою фамилию. В первые дни ареста, когда я без дела ходил по камере и когда, наконец, дали перо и чернила, я прибавил к одной, уже вырезанной фамилии две буквы, так что получилась моя фамилия.

5 июля.

Забрали книги, табак, спички, хлеба не дали, повели в карцер, где было совершенно темно. Там я провел 4 дня без воздуха и почти без еды. Дали только один раз кусок хлеба и немного супу, который нельзя было в рот взять. Думаю об'явить голодовку. Все равно еще в течение 19 дней мне ничего не будут давать. Но я решил прежде поговорить с адвокатом.

Как мрачно! Дождь все время льет; погода такая, как у меня на душе. Опять вспоминаются царские тюрьмы, где такого произвола над подследственными не было. Осужденным, возможно, было хуже, чем здесь. Но там царские, а здесь «республиканские» опричники!

7 июля.

Провел ужасную ночь. У меня желудочное заболевание от тюремного супа. Буквально думал, что умру. Сейчас немного лучше. Еле хожу.

8 июля.

Позвали к доктору. Отменили наказание только на 15 дней и разрешили посылку.

Наконец, настроение изменилось. Получил посылку.

9 июля.

Спал хорошо. Рано утром дали прогулку, но еле ходил. Слабость ужасная! Прислали каких-то капель.

Только-что привели арестованного, посадили неподалеку. Все время плачет. Это ужасно действует на нервы. В тюрьме плач— не то, что на воле..... Кошмар. Мертвая тюремная тишина и вдруг... плач.

11 июля.

Книги, которые сейчас получаю,—один ужас. Какие-то сногсшибательные романы без начала и конца. В конце каждой страницы непонятная надпись. Уголовные об'яснили, что это на их жаргоне значит «смерть собакам». Много различных рисунков—голых женщин, мужчин во всевозможных позах. Вот на чем воспитываются здесь заключенные!!!

Опять чувствую себя хорошо. Только раздражает сосед, который все время плачет. И другой,—напротив моей камеры,—молодой итальянец, которого все время мучают. Его лишили прогулки, ему не дают пищи, кроме вечернего супу; когда открывают к нему

дверь, я вижу его. Это не живой человек, а тень. Измученное лицо, желтое, как лимон, по костюму видно, что он маляр. Каждый раз, когда я его вижу, сердце мое разрывается от жалости.

13 июля.

Я ожил. Чувствую себя хорошо. Начал спать. Удалось прочитать сегодняшнюю газету.

14 июля.

Сегодня праздник—день взятия Бастилии. Народ когда-то разрушил эту тюрьму, не зная, что в будущем будут новые Бастилии по всем городам Франции. В этот день буржуазия устраивает национальный праздник. По всем улицам будет играть музыка, будут танцы. Так они пускают пыль в глаза рабочему классу,—мол, «свободная республика». А я в это время сижу в тюрьме, потому что имел честь бороться против царских бандитов, да, наверное, не я один,—десятки, сотни французов.

17 июля.

Жарища ужасная. Нечем дышать. Сегодня, как видно, пустят гулять после обеда. Теперь мне часто удается иметь газеты. Интересно, что делается в Силезии. Германия требует у союзников, чтоб они послали туда сильную армию. О России никак ничего не могу узнать, словно ее не существует. О ней совершенно ничего не пишут. А там, наверное, занимаются строительством страны, там теперь широкое поле деятельности, и никто не может напасть—руки коротки; мне кажется, что я не узнаю Россию, когда приеду.

Неожиданно пришел мой адвокат и сообщил, что следователь в принципе согласен меня освободить. Дали телеграмму в министерство внутренних дел. Может быть, дня через два меня освободят или вышлют. Мне не верится, чтоб это случилось так скоро.

18 июля.

Как медленно тянется время. Еще только 9 часов. Было бы лучше, если бы я не знал, что сегодня или завтра я буду на свободе. А от этих господ всего можно ждать. Но.... увидим, что завтра будет. Может быть, придет адвокат и скажет, что еще несколько дней придется подождать.

19 июля.

Встал очень рано. В «мервом доме» еще была тишина. Проделал гимнастику. Умылся. Ночью видел приятные сны: я на сводбоде, с моими друзьями... Неужели сегодня последний день? Вместо свободы, пришел адвокать и сообщил, что министр внутренних дел очень удивляется, что такого преступника, как я, хотят освободить, хотя против меня ничего нет. Итак, нужно выбить из головы мысли о близкой свободе.

20 июля.

Опять ужасно плохо спал. Как я ни старался не думать, мысль моя вертелась все на одном и том же . Я думал о том, что существуют законы, которые людьми изучаются годами, но в действительности они не что иное, как мыльный пузырь. Ставлю себя в пример. На каком основании они продолжают меня держать? Просто, закон, это—резина: куда хочешь, туда и тянешь. Одним приказом министра все законы уничтожаются.

Ах, какой плач опять внизу! Молодой, почти детский голос, как видно—мальчик. Не могу слушать!

31 июля.

Недели летят. Приближается 3-й месяц моего заключения. А сколько еще буду сидеть? Чорт знает!

Предлагаю своим парижским друзьям начать наступление в печати. Раз охранка ничего не имеет против меня, кроме провокаторских доносов, можно это использовать и начать печатать об этом в «Юманите».

Все это я устроил через одного надзирателя, который всегда умело передавал мне и от меня мои секретные письма и бумаги.

3 августа.

Вчера вечером позвали к «адвокату». Оказалось, что это Ляфон приехал из Парижа. Я долго с ним беседовал и узнал много новостей. Это удивительно интересный человек. В нем нет ничего французского. Одет неряшливо, как русский интеллигент. Хотя я лично не был знаком с ним, но он радостно сообщил, что получил из Москвы от Коминтерна за подписью Суварина телеграмму, которой он снова восстановлен в правах члена партии. Когда он ехал в Москву на II конгресс, с ним случился казус. Ему пришлось остановиться в Варшаве. В это время шло отступление поляков. Ему приходилось беседовать со всей тамошней сворой, которая ему говорила, что отступление польской армии носит стратегический характер, что она скоро перейдет в наступление. Приехав в Москву, он об этом ничего не сообщает, и только недели через две частным образом рассказывает все Садулю. Тот был настолько возмущен его молчанием, что сейчас же доложил Вл. Ильичу и Троцкому. Троцкий распорядился, чтоб его выслали из России.

— Сейчас же,—заканчивает он,—Исполком Коминтерна меня оправдал!

9 августа.

Сегодня рано утром выпустили гулять. Гулял вместе с моим соседом. Узнал, кто он, за что сидит. Он—рабочий, 5 лет работает на газовом заводе, воевал, конечно, был ранен, имеет всякие ордена. У него есть жена, маленький ребенок. Однажды жена поссорилась с соседкой. Видя эту ссору, он заступился за свою жену и от-

толкнул другую женщину. И теперь уже месяц он здесь, и его ни разу не допрашивали. Первые дни он все плакал и раздражал меня.

Отец С. с одним товарищем был у Ляфона, принес ему прошлогоднюю газету, где была помещена провокационная статья против меня.

С большим удовольствием читал Шекспира.

12 августа.

Наконец пришел адвокат. Он был у следователя, принес хорошие новости: следователь дал честное слово, что если против меня не будет ничего серьезного, он 18-го меня выпустит.

13 августа.

Спешу переписать все, что написал для С.; если меня освободят в четверг,—наверное, не успею. Нужно всегда говорить «если», потому что у этих господ даже и честное слово ничего не значит.

14 августа.

Вчера целый день переписывал. Сегодня продолжаю. Еще раз готовлюсь выйти на свободу. Вот уже третий раз, как я «выхожу» отсюда и все остаюсь на месте.

18 августа.

Спал очень плохо. Все время просыпался. Хотелось, чтобы скорей наступило утро. Сложил мелкие вещи и стал ждать желанной вести. Выпустили гулять,—может быть, в последний раз. Наконец, пришел адвокат, сообщил, что меня высылают в Италию. Нет ли здесь подвоха со стороны фашистов? Но как-никак—все-таки прощай, тюрьма, прощай, камера № 83!

Ничего не понимаю. Весь день ждал, провел ужасные часы, прислушивался к каждому шороху—не откроют ли мою дверь, чтоб выпустить меня на волю? Но нет, и эту ночь придется провести здесь, в этой печальной обстановке. В чем дело?..

Ночь была ужасная. Никак не мог успокоиться. Увидим, что будет.

Не успел я написать эту фразу, как раздался громкий голос: «83»! Пока надзиратель поднимался по лестнице, я обул ботинки, взял тетрадку,—ряд вещей оставил уголовным. Тот же надзиратель, который обыскивал меня при аресте, теперь выпустил меня со словами:

— Ну, большевик, идите на свободу, только думаю, что свобода эта не очень-то вам улыбнется!

Один из уголовных, обслуживающих тюрьму, посылает мне рукой прощальный знак. Меня вводят к начальнику тюрьмы для необходимых формальностей. Два штатских шпика заявляют мне, что через два часа я должен уехать в Италию. При этом невольно вспоминаются последние слова надзирателя. Может быть, он был

прав, и я скоро стану жертвой подвоха французского и итальянского правительств, у которых есть прекрасное орудие для истребления коммунистов—фашисты. Еще до моего ареста свыше 2.000 коммунистов были из-за угла убиты и ранены. Убийцы были защищаемы итальянской охранкой; тем более русского коммуниста подстрелить легко,—стоит только заявить при этом, как обыкновенно делается в буржуазных странах, что он хотел бежать.

Наконец, открываются железные тюремные ворота, и я—на свободе.. С. встречает меня с букетом красных роз. Свежий воздух одурманил меня,—ведь я почти 4 месяца не дышал им. Шпики садятся вместе с нами на извозчика, и мы едем на вокзал. Там меня вводят к тому комиссару, который меня арестовал. Встретил он меня очень любезно, подал руку и сказал иронически:

— Хоть вы и представитель Коминтерна, но мы вас все-таки не так долго держали.

В это время С. сообщает мне слова шпиков, что, если меня на границе не подстрелят фашисты, то, несомненно, через несколько часов я буду в итальянской тюрьме. Для начала хорошее напутствие!

Решил заявить, что согласен ехать в Германию, в Италию же поехать могут заставить меня только силой.

Во время моего об'яснения по этому поводу с комиссаром, С. с'ездила за адвокатом, который скоро приехал. После долгих переговоров с комиссаром, он дает телеграмму в министерство, ответ на которую должен прибыть только на следующий день. Дожидаясь ответа, я должен был ночевать в участке. Шпик, под надзором которого я находился, любезно согласился поехать со мной ужинать. Оказалось, что он был рабочим и теперь несколько лет служит в охранке. Главная его обязанность по должности—присутствовать на всех коммунистических собраниях, наблюдать за руководителями, записывать все происходящие прения и решения для доклада охранке. Так как эти собрания легальные, то ему легко удается все узнавать.

Не говоривши почти ни с кем за эти 3½ месяца, я под влиянием какой-то необ'яснимой силы за эти 2 часа успел наговорить С. столько, сколько в другой раз не скажешь за 2 дня. К 1 ч. ночи шпик отвел меня в учасок, где я провел ночь.

К 10 часам утра прибегает С. и сообщает мне радостную весть, что меня высылают в Германию; но только для чего-то меня прежде требует Париж. В 2 часа дня, с тем же шпиком, меня сажают в вагон 1 кл. для отправки в Париж. Тут же ехала и С., направляясь домой.

За все время нашей езды шпик ни разу не дал окружающим повода думать, что я арестован и что он меня сопровождает: он любезно болтал со мной всю дорогу.

Одна дама, ехавшая с каким-то господином, все время тихо возмущалась моим видом: «Как мог он сесть в первый класс?!». Через 20 с чем-то часов мы, наконец, прибыли в Париж. Нужно было

попасть в министерство внутренних дел. На автомобиле отправляемся туда; С. распрощалась со мной. Она торопилась домой—сообщить о моей высылке. Около министерства нас ждал другой автомобиль с двумя шпиками, на котором мы едем к вокзалу «Гарде-Лест». Теперь мне стало ясно, что меня направляют в Германию. На вокзал мы приехали в 1 час, но поезд отходит в 9 ч. вечера. Шпики предлагают мне посидеть в участке, говоря, что придут за мной в 6 час. вечера.

— Там вы можете пообедать, по вашей просьбе вам купят все.

Пошел в участок, думая, что будет не хуже, чем в Ницце.

Но как только шпики передали меня главному комиссару, мне велели раздеться, самым грубым образом обыскали меня, забрали деньги и все то, что было в карманах, и бросили в карцер; в ответ на мое возмущение и протесты они только смеялись. В карцере лежал какой-то пьяный. Вонь была ужасная. Темно. Я думал, что сойду с ума от злости.

Я уже свободен, а меня смеют бросать в карцер!!.. Так я провел 6 часов без еды. В 6 часов выпускают. Вручают мне деньги, подсчитываю,—нехватает 2 франков. Хотя эта сумма пустяшная, но я, чтоб излить свою злобу и отомстить этому комиссару, решительно отказываюсь расписаться в получении денег, заявляя, что у меня нехватает 2 франков.

— Как, вы нас подозреваете в воровстве?—бешено кричит он.

— Нет, не только в воровстве, но еще и в разбое. Вы хуже, чем разбойники,—отвечаю я.

Он соскочил со стула, бледный от злости. Я ору:

— На каком основании вы меня ограбили и бросили в карцер,—кого я обворовал?!

Он вынимает 2 франка и хочет мне отдать их.

— Нет,—говорю,—возьмите это себе на чай.

Тут полицейский берет меня за руку.

— Идемте.

Я весь горю от злобы. Штатские шпики принимают меня. Я заявляю им, что до отхода поезда осталось 3 часа, что бросать в карцер меня не имеют права, что я целый день не ел и не пил и поэтому требую, чтобы один из них пошел сейчас же со мной в город. Я хочу обедать в самом шикарном ресторане; иначе я не поеду. Шпики испугались, но, узнав, что я большевик, они с готовностью все устроили. Сами они—бывшие рабочие, теперь служат только против уголовных. Один из них, столяр по профессии, пошел со мной в город. На «Больших Бульварах» зашли в ресторан «Дюваль». Трудно описать, как меня встретила находившаяся там публика. Было это как-раз в воскресный день. Богато разодетая буржуазия разместилась около своих столиков, лакеи им прислуживали. И вдруг являюсь я,—грязный, обросший, без воротничка. Сколько ни просил меня шпик о том, чтобы я зашел в более скромный ресторан, я решительно отказался. У меня была такая ненависть к буржуазии, что, обедая здесь, я хотел пока-

зать ей свое презрение. Я потребовал воды и немного помылся. Заказал ужин. Настроение сразу изменилось. С час гулял по городу; иногда появлялось желание бежать, и это было легко, но не хотелось подвести шпика. Еще днем я послал отцу С. записку, что в 9 часов меня отправляют.

Когда я пришел на вокзал, он с семьей и с некоторыми рабочими уже был там. Каждый из них на прощанье пожелал мне скорей вернуться к ним обратно. Они надеются, что скоро у них будет другой режим. Меня опять посадили в 1-й класс и отправили на Майнц.

Высылка из Франции.

Майнц—это немецкий город, занятый французами. Там меня вводят к комиссару, который дает пропуск, и я один, без шпиков и жандармов, еду в Берлин (шпики сопровождали меня только до границы). Приехав в Берлин, я решил отдохнуть здесь недели две, чтоб затем приняться за прерванную партийную работу. Для этого нужно было, чтоб сюда приехала С.

Живя здесь, мне было как-то странно не видеть перед собой «Мопса», не слышать тюремного плача. Часто рано утром я просыпался, соскакивал с кровати, думая, что я в камере и что скоро откроется дверь и нужно будет итти за своей одеждой. Прошло много дней, пока я освободился от этих своих последних тюремных впечатлений.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Правление и Контора: Москва—34, Лопухинский пер., 5. Телефон 3-64-73.
Магазин «МАЯК»: Москва—центр, Петровка, 7. Телефоны: 3-63-20 и 4-18-12.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

	Цена
Фроленко, М. Ф. Записки семидесятника	3 р. 25 к.
В Якутской неволе. Сборник из истории политической ссылки в Якутской области	2 » — »
Девятый вал. Сборник к десятилетию освобождения из царской каторги и ссылки	2 » — »
Михаил Бакунин. Сборник ко дню петидесятилетия со дня смерти 1886—1926 г.	1 » 75 »
М. П. Сажин (Арман Росс). Воспоминания 1860—1880 г.г.	1 » 10 »
Спиридонова, М. Воспоминания о Нерчинской Каторге	— » 80 »
Школник, М. Жизнь бывшей террористки	— » 80 »
Герцен, А. И. Новые материалы	1 » 70 »
Чарушин, Н. О далеком прошлом. Кружок чайковцев	2 » — »
Прибылева-Корба, А. П. «Народная Воля». Воспоминания о 1870—1880 г.г.	2 » — »
Карнаухов-Краухов, В. Красный лейтенант. Из воспоминаний о лейтенанте П. П. Шмидте и восстании крейсера 1 ранга «Очаков» 1905 г.	1 » 40 »
Тайные Общества в России в начале XIX столетия	1 » 80 »
Чужак, Н. Правда о Пугачеве	— » 80 »
Тютчев, Н. В ссылке. Воспоминания	1 » 75 »
Письма Егора Сазонова к родным	3 » — »
Декабристы на каторге и в ссылке. Сборник	3 » — »
Меньщиков, Л. «Охрана и Революция». К истории тайных политических организаций в России 1885—1898 г.г. Ч. I	2 » — »
Виленский-Сибиряков, Вл. Политкаторжане	— » 40 »
Революционное движение в России XVII—XX в. Систематический указатель литературы, составили Б. П. Козьмин и Р. С. Мандельштам	— » 50 »
Тютчев, Н. С. Статьи и воспоминания. Часть I. Революционное движение 1870—80 г.г.	1 » 50 »
Тоже. Часть II. В ссылке и другие воспоминания	1 » 75 »
Буланова, О. К. Роман декабриста	2 » — »

Цена

По тюрьмам. Сборник воспоминаний из эпохи первой революции 1 р. 50 к.

Еллинский, Б. Под звон цепей. Роман из жизни сахалинских политических ссыльных. В 2-х частях:

Часть I. **В тисках каторги** . . . . . 1 » 50 »

Часть II. **Каторжная кузница** . . . . . 1 » 50 »

Участники русского революционного движения эпохи борьбы с царизмом. Биографический указатель членов Всесоюзного Общества Политических Каторжан и Ссыльно-Поселенцев . 1 » 25 »

ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Комплекты популярной литературы по истории революционного движения в России:

Цена

Комплект I. **Декабристы.** 8 книжек в папке . . . . . 1 р. — к.

» II. **Народничество.** 7 книжек в папке . . . . . 1 » 15 »

» III. **Народовольцы.** 12 книжек в папке . . . . . 1 » 70 »

» IV. **Рабочее движение.** 9 книжек в папке . . . . . 1 » 70 »

» V. **Первая русская революция 1905 г.** 13 книжек в папке 1 » 35 »

» VI. **Тюрьма, каторга и ссылка.** 13 книжек в папке . . 1 » 80 »

Цены всех 6 комплектов 8 руб. 70 к. с пересылкой.

Ашенбреннер, М. Ю. Военно-революционная организация партии „Народная Воля“ . . . . . — » 12 »

Памяти М. Ю. Ашенбреннера . . . . . — » 12 »

Фигнер, В. Н. Жены декабристов . . . . . — » 10 »

Его же. М. В. Новорусский . . . . . — » 5 »

Его же. Н. А. Морозов. . . . . — » 12 »

Его же. М. Ф. Фроленко . . . . . — » 12 »

Фроленко, М. Ф. Милость . . . . . — » 10 »

Его же. 1881 г. . . . . — » 5 »

Сажин, М. П. (Арман Росс). Воспоминания о М. А. Бакунине . . — » 12 »

Ковальская, Е. Южно-Русский Рабочий Союз 1880—1881 г.г. . . — » 50 »

Шебалин, М. П. Летучая типография „Народной Воли“ . . . . — » 12 »

Кон, Ф. „Пролетариат“ . . . . . — » 30 »

Прибылев, А. В. Процесс 17-ти народовольцев 1883 г. . . . . — » 25 »

Попов, И. И. Г. А. Лопатин . . . . . — » 25 »

Попов, И. И. С. Ф. Ковалик . . . . . — » 12 »

Попов, М. „Земля и Воля“ накануне Воронежского с‘езда . . . — » 25 »

Аптекман, О. В. Мои первые шаги на пути пропаганды . . . . — » 24 »

Айзнафт. Стачечное движение 90-х г.г. и соц.-дем. . . . . — » 12 »

Соболь, Андрей. «Колесуха» . . . . . — » 10 »

Его же. „Давай улетим“. Пьеса . . . . . — » 30 »

Его же. Там, где решотки . . . . . — » 24 »

Виленский-Сибиряков, В. Д. Кровавое воскресенье 9 января . . — » 5 »

Его же. „День падения царизма“ . . . . . — » 10 »

Белозеров, А. Расплата . . . . . — » 12 »

Белокуров, И. Из записок аграрника . . . . . — » 25 »

Цена

Бибик, А. Разрыв. Драма . . . . . — р. 25 к.
Билибин и Данцскес. Орловский централ . . . . . — » 5 »
Беркова, К. Н. С. М. Кравчинский . . . . . — » 5 »
Ее же. Парижская Коммуна и русские революционеры . . . . . — » 12 »
Ее же. А. Д. Михайлов . . . . . — » 24 »
Бочаров, Ю. Севастопольское востание. Ноябрь 1905 г. . . . . — » 10 »
Его же. Е. О. Заславский . . . . . — » 10 »
Его же. Февральская революция 1917 г. . . . . — » 25 »
Бухбиндер, И. А. Зубатовщина и рабочее движение в России . — » 24 »
Викторовский, Н. Г. А. И. Ульянов . . . . . — » 10 »
Дружинин, Н. Петербургский Совет рабочих депутатов 1905 г. . — » 10 »
Его же. А. В. Якимова (Кобозева) . . . . . — » 20 »
Джервис, М. Волнения петербургских рабочих накануне мировой войны . . . . . — » 12 »
Дунаев, В. История одной голодовки . . . . . — » 12 »
Закс, Е. Побеги русских революционеров . . . . . — » 15 »
Кантор, Р. Гесея Гельфман . . . . . — » 12 »
Катин-Ярцев, В. Н. Исторические стачки . . . . . — » 10 »
Клевенский, М. Декабрист С. И. Муравьев-Апостол . . . . . — » 10 »
Коган, И. Декабрьское восстание в Москве в 1905 г. . . . . — » 10 »
Ее же. Программы в дни свободы . . . . . — » 5 »
Ее же. Карательные экспедиции 1905—1906 г.г. . . . . — » 10 »
Ее же. Кронштадт в 1905—1906 г.г. . . . . — » 12 »
Калистов, С. Тобольский централ . . . . . — » 5 »
Кункль, А. А. А. И. Герцен и его время . . . . . — » 25 »
Лурье, Г. А. А. Костюшко-Валюжанич . . . . . — » 10 »
Маркелов, М. Декабрист П. И. Пестель . . . . . — » 10 »
Подвойский, Н. Первый Совет Рабочих Депутатов . . . . . — » 5 »
Первое мая в тюрьме и ссылке . . . . . — » 10 »
Сушкин, Г. Г. Маевки прошлого . . . . . — » 10 »
Стуков, В. В. В дальневосточных тюрьмах . . . . . — » 12 »
Сибиряков, С. Последние дни в ссылке . . . . . — » 10 »
Его же. Г. И Котовский . . . . . — » 10 »
Трутовский, В. Сорочинская трагедия . . . . . — » 12 »
Тетерин, Н. В орловский застенок . . . . . — » 10 »
Штрайх, С. Декабрист П. Г. Каховский . . . . . — » 10 »
Его же. Декабрист Б. Ф. Рылеев . . . . . — » 5 »

ДЕЯТЕЛИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ.

От предшественников декабристов до падения царизма.

БИО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.

I вып. I тома цена 2 р. 50 к.